

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт филологии и языковой коммуникации
Кафедра журналистики и литературоведения
45.03.01 Филология

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
журналистики и
литературоведения



К. В. Анисимов

18 июня 2020 г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

**Л.Н. ТОЛСТОЙ И И.И. МЕЧНИКОВ: НРАВСТВЕННЫЕ,
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДИАЛОГА**

Выпускник



С.О. Савяк

Научный
руководитель



д-р. филол. наук,
доц. К. В. Анисимов

Красноярск 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ «ЛИТЕРАТУРА И МЕДИЦИНА»	7
1.1. Освоение медицинского дискурса русской литературой XVIII – XIX вв..	7
1.2. Нарратология медицинского дискурса: событие, фабула, сюжет	17
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1	24
ГЛАВА 2. МЕДИЦИНА КАК «МЕТАЛИТЕРАТУРА»: ОТ ТОЛСТОГО К БУНИНУ	25
2.1. Л.Н. Толстой и И.И. Мечников: начало диалога	25
2.2. «Счастье» как ключевое звено в нарративной трактовке смерти	30
2.3. Медицинский дискурс и повествование: роман «Анна Каренина»	34
2.4. Вера как слагаемое моралистической программы позднего Толстого	46
2.5. Младшие современники Толстого и Мечникова: творчество И.А. Бунина	54
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2	62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	64
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	66

ВВЕДЕНИЕ

В конце 70-х гг. XIX в. Л.Н. Толстой пережил мировоззренческий перелом, усложнивший его положение в литературе как профессионального писателя. Роман «Анна Каренина» становится последним классическим художественным произведением Толстого, где в образе Константина Лёвина предчувствуется мировоззренческий кризис самого автора.

В настоящей работе картины счастья героев Толстого будут рассмотрены как сложная повествовательная ситуация, которая может быть соотнесена с более поздней рецепцией Толстым идеей И.И. Мечникова о продлении человеческой жизни. Главный герой ученого, человек как биологическая единица, выступает в своём плотском начале. Он переосмысливает смерть как неокончательный этап своей жизни и стремится к продлению её за счёт оптимального телесного развития. Такому человеку противостоит литературный герой как точка приложения авторского усилия трансформировать личность изнутри. В рецепции мечниковской программы Л.Н. Толстым, а затем и И.А. Буниным, как последователем толстовской мысли, воззрения русского теоретика медицины обрели отчетливо металитературный характер, невольно превратившись в комментарий, объясняющий правила и законы литературы. Таким образом, литературный сюжет героев Толстого и Бунина, который должен быть основан на динамике и трансформации героя, в итоге реализует «мечниковский» антисюжет.

Актуальность данной работы обусловлена приоритетным отношением современного литературоведения к антропологическим аспектам взаимоотношения медицинского и литературного дискурсов, к отражениям последнего в художественных текстах.

Степень разработанности проблемы: проблема медицины в интеллектуальном и культурном наследии Л.Н. Толстого ставилась неоднократно. Но вопрос о связи медицинского дискурса с

повествовательной поэтикой как непосредственной художественной практикой до сих пор даже не сформулирован. Некоторые подступы к интересующей нас проблеме представлены в ряде частных наблюдений толстоведов (Б.М. Эйхенбаума, В.Б. Шкловского, В.А. Игнатъев и др.), а также исследователей-теоретиков, анализировавших природу и смысл толстовских воззрений на телесность (труды И. Паперно, О. Ханзен-Лёве, А. Жолковского, Ю. Щеглова и др.). Применительно к И.А. Бунину как продолжателю философского поиска Толстого этот комплекс проблем исследовался Т.В. Саськовой, О.В. Сливацкой, Г.Ю. Карпенко, Л.В. Крутиковой и др.

Цель исследования – рассмотреть теорию И.И. Мечникова в поле литературы как своего рода анти- и мета-литературу, выявить отношение Л.Н. Толстого и И.А. Бунина к мечниковской теории.

Данная цель предполагает решение следующих *задач*:

1. Систематизировать добытые наукой данные о национальной специфике взаимодействия медицины и литературы.
2. Осмыслить теорию И.И. Мечникова как «литературный факт», «потенциальную литературу».
3. В аспекте нарратологической категории событийности соотнести медицинский и литературно-сюжетный взгляды на человека и его жизнь.
4. Выявить причины и ход скрытой полемики Л.Н. Толстого с И.И. Мечниковым.
5. Рассмотреть творчество И.А. Бунина в аспекте теории И.И. Мечникова.

Объектом исследования является взаимодействие медицинского и литературного дискурсов в общем поле русской словесности конца XIX – начала XX вв.

Предметом исследования являются повествовательные модификации, обусловленные вторжением медицинского дискурса в литературный текст на

примере романов и эго-документов Л.Н. Толстого, а также прозы И.А. Бунина.

Материалом данного исследования выступают научные книги И.И. Мечникова «Этюды о природе человека», «Этюды об оптимизме», статьи и работы, представляющие собой рецепцию идей Л.Н. Толстого; дневники и эпистолярный Л.Н. Толстого, относящиеся к годам его знакомства с И.И. Мечниковым, роман «Анна Каренина» и моралистические трактаты; роман «Жизнь Арсеньева», рассказ «Чаша жизни» И.А. Бунина, а также опубликованные личные дневники писателя.

Теоретической базой исследования являются работы К.А. Богданова, посвященные историческому взаимодействию литературы и медицины в поле русской культуры XVIII – XIX вв.; работы С.Н. Бройтмана по исторической поэтике; структурно-семиотические и нарратологические работы по поэтике сюжета, мотива и категории событийности (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, В. Шмид, В.И. Тюпа, Н.Д. Тмарченко и др.), также работы литературоведов-толстоведов Б.М. Эйхенбаума, И. Паперно и др.

Методы исследования, используемые в настоящей работе: историко-типологический анализ (выявление внутренних схождений между литературной сюжетологией и медициной), а также нарратологический подход, применяемый при анализе конкретных текстов.

Практическая значимость определяется тем, что материал исследования может быть использован в опыте как школьного, так и вузовского преподавания литературы.

Краткое содержание глав:

В первой главе рассмотрены этапы становления индивидуально-авторского творчества, в котором событие становится приоритетом для развертывания сюжетной канвы. В условиях интенсификации переживания биографическим автором такого события как «смерть», равно как в ходе поиска «задерживающих» время альтернатив смерти событие как категория

становится проблемой, что программирует не только конфликт мировоззренческий, но и нарративный.

Во второй главе представлен анализ произведений Л.Н. Толстого и И.А. Бунина в свете теории И.И. Мечникова. Показано, как герои, которые, согласно преобладающим и общепринятым правилам повествовательной техники должны находиться в динамическом движении, попадают в особую повествовательную ситуацию, связанную с остановкой всякого развития.

По теме выпускной квалификационной работы опубликована статья «Лёвинское счастье как повествовательная ситуация в нарративной поэтике романа “Анна Каренина”» в журнале «Siberia Lingua»; результаты исследования творчества Л.Н. Толстого и И.А. Бунина были представлены в 2018 – 2019 гг. на Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Язык, дискурс, (интер)культура в коммуникативном пространстве человека», а также в 2019 году работа удостоена первого места в секции «историческая поэтика и типология русской и зарубежной литературы: от Средневековья к классике XIX – начала XX вв.».

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ «ЛИТЕРАТУРА И МЕДИЦИНА»

1.1. Освоение медицинского дискурса русской литературой XVIII – XIX вв.

Филологическая наука имеет опыт обращения к проблематике медицины – как части общеантропологического понимания человека. В этом ключе важна работа К.А. Богданова «Врачи, Пациенты, Читатели: Патографические тексты русской культуры XVIII – XIX веков». Исследователь полагает, что в русской истории медицина в первую очередь реализует «риторические стратегии власти – стратегии произвола и принуждения, согласия и подчинения» [Богданов, 2005: 14]. По мнению ученого, человек приобретает статус больного не тогда, когда он ощущает боль, «а когда он готов стать пациентом и подвергнуться медицинскому попечению» [Там же: 15]. Начиная с Петра I, опеку над медициной берёт государственная власть, далее происходит внедрение в медицинское сообщество европейских врачей, а как частный результат всего этого – зарождается недоверие народа к медицине.

С историко-культурной точки зрения научные реформы Петра были, несомненно, конфликтными по отношению к отечественной традиции врачевания. Не только в России, но и в Европе медицинские нововведения зачастую расценивались как вызов традиционным христианским представлениям – представлениям о душе и теле, жизни и смерти, отношению к покойному и вообще к человеку. Врачей нередко (и не всегда неоправданно) обвиняют в осквернении могил и краже мертвых тел, а сама медицинская профессия граничит в общественном сознании с преступлением против морали и религии [Богданов, 2005: 16].

Язык власти становится, с одной стороны, инструментом для расширения медицинского обслуживания, с другой – он «ориентирован на эмоциональную и дидактическую убедительность манифестируемого им знания» [Богданов, 2005: 16]. В конечном счёте, объектом власти становится не только врач, который репрезентирует её функции, но и его пациент. [Там же: 16]. Таким образом, медицина представляется нам властным институтом, где больной, теряя ранее имевшие социальные статусы, приобретает статус «пациента».

Такая «роль больного» не бесконфликтна, так как, чтобы иметь влияние на человека, в данном случае на пациента, медицина создаёт болезни, ищет их там, где их нет, тем самым присваивая здоровье больного и создавая о нем и его жизни особого рода нарративы.

Рубеж XIX – XX столетий является временем радикального обновления культурного опыта. Происходит отход от метафизических предпосылок культурного сознания, человек идёт против установившихся норм и истин, он пытается увидеть лакуны в изведенном, постичь, как ему казалось, непостижимое. В этом плане медицина отходит от народных лечений и берёт направление в сторону клинического опыта.

Доминирующей особенностью медицинского дискурса второй половины XIX в. (т.е. при наступлении эпохи зрелого модерна) становится идея «лаборатории» в противовес клиническому наблюдению пациента дома. Образ врача отныне ассоциируется с манипуляциями над лабораторными инструментами, анатомическими и биологическими исследованиями.

После долгого путешествия по Европе, Петр учреждает в Москве в 1699 г. лекции по анатомии с демонстрациями на трупах. Находившийся тогда в Москве Иоганн Георг Корб так описывал это мероприятие: «Медик Цоппот начал Анатомические упражнения в присутствии Царя и многих бояр, которых побудил к этому Царский приказ, хотя такие упражнения и были им противны» [Корб, 1906: 244]. Петр не просто присутствовал на анатомических занятиях, но принимал в них активное участие. Впоследствии

в России были основаны первый военный госпиталь, хирургические школы, анатомический театр в Москве. Также в 1714 г. была построена Кунсткамера. Позже прививка от оспы Екатерине II и Павлу I в 1768 г. была прецедентна к последующей истории вакцинации. По мнению Богданова, такое властное насаждение медицинского знания в России ставит под вопрос саму «собственно научную» историю медицины [Богданов, 2005: 16].

Как отмечает исследователь, постепенное реформирование медицинской области привело к новому пониманию того, что «человеку нужен врач, а не только таблетки или уколы» [Там же: 17]. Вокруг врача концентрируется только постоянный круг пациентов. Таким образом, врач теперь выступает в роли собеседника, которому больной доверяет абсолютно всё. Это подтверждается и тем фактом, что врачевание находит свою аналогию с исповедью больного: у постели больного всегда присутствует врач, который в последние часы своего пациента находится рядом, как и священник.

Богданов считает, что медицина постепенно переосмысливается как властный институт, обращенный «не к конкретному человеку, а к определенной группе людей, объединяемых единством вменяемой им социальной функции» [Там же: 17].

Культура послепетровской России зародила в сердцах учёных надежду на получение ответа на самый главный вопрос человечества – «Как избежать смерти? Как продлить жизнь?». Как отмечает В.А. Игнатъев, стремления учёных в XIX – первой половине XX вв. продлить жизнь человека и дать объяснения жизни и смерти характеризуются тем, что смерть рассматривается через «переход жизни в её противоположность» [Игнатъев, 2010: 46]. Жизнь с позиции науки рассматривается как «преемственность организации, осуществляемая в единстве процессов самоизменения – самосохранения» [Там же: 47]. Любые изменения в среде ведут к новому приспособлению биосистем, изменению их состояний и свойств. Смерть, в таком ключе, рассматривается в противоположность

жизни: «есть необратимое нарушение преемственности организации на разных уровнях осуществления жизни» [Там же: 48].

Последняя треть XIX в., по мнению Богданова, характеризуется всплеском интереса к возможностям бальзамирования покойных. В своей статье «Преждевременные похороны: филантропы, беллетристы, визионеры» автор отмечает, что забальзамированные трупы ведут к реализации поддержания жизни в теле «бальзамирование спасает тело от разложения, уподобляя его живому, а в определенном смысле – сохраняя его живым <...> до тех пор, пока труп не гниет, можно верить, что смерть обратима» [Богданов, 2006: 88]. Такие патолого-анатомические мероприятия приводит к «медикализации» смерти, а также к её мистификации, придавая мертвому телу новый смысл.

Другой причиной обращения отечественных врачей и учёных к идеям продления жизни, по мнению О. Матич, высказанной в работе «Эротическая утопия: новое религиозное сознание и *fin de siècle* в России», оказывается сама историческая ситуация в России. Одной из попыток уничтожения смерти и достижения бессмертия тела, О. Матич считает широко пропагандировавшееся тогда эротическое воздержание, что «представляет собой оксюморонную сексуальную практику, в ходе которой продление собственной жизни достигалось за счет прекращения возникновения жизней новых» [Матич, 2008: 7].

Тему вырождения поднимает и поздний Лев Толстой в «Крейцеровой сонате». В своей статье «Поздний Толстой и Блок – попутчики по вырождению» О. Матич отмечает, что в этой повести главный герой под воздействием сонаты Бетховена решает убить свою жену «воображение Позднышева, стимулированное музыкой, выливается в одержимость их прелюбодеемием, даже если оно и происходит только в его разгоряченном сознании. Эротическое перевозбуждение, вызванное музыкой, приводит в повести Толстого к убийству. Герой “заражается” сонатой» [Матич, 2006: 195].

Но под влиянием идей *fin de siècle* оказался не только Л.Н. Толстой, но и Ф.М. Достоевский, В. Соловьёв и их современники. По словам Матич, значительное влияние на своих современников, а также деятелей русской культуры оказал религиозный мыслитель Николай Фёдоров.

Учение Федорова базировалось на бунте против онтологического зла – смерти. В основе лежит идея о воскрешении мертвых: каждое новое поколение несёт на себе вину за смерть предыдущих поколений. По словам Матич, Федоров утверждал, что, чтобы воскресить отцов, т.е. прервать вечный круговорот жизни и смерти, нужно соединить эротическую энергию коллектива вместе «воскресшие будут свободны от желания, являя собой будущее сообщество бессмертных» [Матич, 2008: 8].

Сходную утопическую мысль имел и Владимир Соловьёв. Его цель, как и Федорова, состояла в уничтожении природного начала в человеке и, таким образом, смерти «посредством накопления индивидуальной сексуальной энергии до тех пор, когда в большом преобразующем взрыве энергетический избыток израсходуется и положит начало новой жизни» [Там же: 122].

Фундаментальной проблемой жизни и смерти интересовалось не только медицинское сообщество, но и русская классическая литература. Ярким примером становится Лев Толстой.

Медицинская тематика в творчестве писателя выражалась не только в художественных текстах, как «Война и мир», «Смерть Ивана Ильича» и др., но также и в эго-документах (письмах, дневниках). Именно дневниковые записи, за которые Толстой берётся в 1847 году, выступают неким способом формирования своей личности. Как отмечает Б.М. Эйхенбаум, в дневнике молодого Толстого мы видим не просто переживания или воспоминания, а непрерывное самонаблюдение за собой: «каждое переживание разлагается на части, точно формулируется как отдельное от других, и на него направляется сила сознания» [Эйхенбаум, 2009: 32].

Вплоть до 1910 года, последнего года жизни Толстого, дневники запечатлевают разные стороны личности писателя, его интересы и занятия. Они же являются и уникальным источником медицинского материала: Толстой каждый день писал о своём здоровье, физическом и духовном состоянии, посещении врачей, поездок на природу и многое другое.

Постоянное фиксирование своего здоровья превращает дневниковые записи писателя в своеобразный анамнез жизни больного. Допустим, в 1890 г. Толстой так запишет о своём состоянии: «вчера стало лучше. Привезли доктора Руднева. Он верно определил болезнь – воспаление 12-перстной кишки, а не желтуха от заткнутого протока. Лучше ничего не знать, чем знать неточно, как я» [Толстой, 1952, т.51: 42], а в 1902 г. в дневниковой записи будут присутствовать полное описание болезненного состояния писателя: «Спал хорошо и довольно много; утром проснулся бодрый; процессом в легких доктор доволен; к полудню поднялась температура, дыхание стало тяжелое, пульс учащенный; доктора нашли, что воспаление перешло на правое легкое» [Толстой, 1935, т.54: 296].

Как отмечает И. Лихтенштейн, частое общение с врачами, чтение специальной медицинской литературы дало писателю богатый материал для своих художественных текстов. Это воплотилось в детализированном описании медицинских сцен «Толстой в упомянутой повести “Смерть Ивана Ильича” по позе больного, по тому в каком положении облегчается состояние, описывает практически открытый позднее симптом “интерференции боли”» [Лихтенштейн, 2015: 258].

Но дневниковые записи отмечают не только ухудшающееся или улучшающееся состояние здоровья, но и те физические активности, которые Толстой исполняет для совершенствования не только тела, но и своего духа «для меня ежедневное движение телесной работы необходимо, как воздух. При усидчивой умственной работе без движения и телесного труда суще горю. Не походи, не поработай я ногами и руками в течение хоть одного дня, вечером я уже никуда не гоюсь: ни читать, ни писать, ни даже внимательно

слушать других, голова кружится, а в глазах звезды какие-то и ночь проводится без сна» [Лакшин, 1985: 39].

Так, в молодости толстовский дневник выглядел как список дел на день: ранний подъём, занятие гимнастикой, пешая ходьба, конный спорт, шахматы, катание на коньках, игра в лапту, купания, а также работа в поле и многое другое. Допустим, в 1856 г. Толстой так опишет своё утро: «Встал в 8, делал гимнастику, читал *Newcomes*, обедал» [Толстой, 1937, т.47: 82]. В 1858 г.: «убирался. Был на гимнастике. Сильно посвежел» [Толстой, 1952, т.48: 19] и т.д.

В 1847 г. Лев Толстой составит для себя сводки правил для ведения здорового образа жизни. Туда входят общие правила и элементарные упражнения, упражнения с гирями и более усложненные занятия для продвинутых. Допустим, так выглядели общие правила для физической активности: «1. Останавливаться, как только почувствуешь легкую усталость. 2. Сделав какое-нибудь упражнение, не начинать нового, пока дыхание не вернется к своему нормальному состоянию. 3. Стараться сделать на следующий день то же количество движений, как и накануне, если не большее» [Толстой, 1937, т.46: 275].

Со временем особой страстью Толстого стали поездки на велосипеде. В возрасте 66 лет Толстой почувствовал большое желание научиться кататься на велосипеде, и спустя год он сделал это. Но через два года писатель сам удивится, почему такой транспорт вызывал в нём столь яркие эмоции «бросил ездить на велосипеде. Удивляюсь, как мог так увлекаться» [Толстой, 1953, т.53: 85].

Ведение активного и здорового образа жизни для поддержания в себе физических и умственных сил сопровождалось и попытками отказаться от вредных привычек: курение, вино и мясо. Так, в 1908 г. в своём дневнике Толстой будет вспоминать о своей молодости и напишет такие слова: «также казалось подвигом не ругаться, не пьянствовать, не есть мяса. А теперь мы

понимаем, что это просто практический совет – не делать себе вреда» [Толстой, 1937, т.56: 141].

Такой толстовский взгляд на образ жизни с годами трансформировался, приобретя более религиозный характер «люблю курить – курить и т. п. Я говорил: да, но надо любить, любишь чистоту – не курить и т. п. и надо возбуждать в себе эту любовь к доброму. Нынче вот и думал: как возбуждать эту любовь к любви и т. п. Есть одно всемирное, всем известное и до неузнаваемости изуродованное средство: *молитва* (курсив мой. – С.С.)» [Толстой, 1952, т.50: 49].

Но отношение к медицине у Толстого было определенное – отрицательное. Об этой позиции Толстой не раз высказывался «ещё более враждебно располагаешься к людям, когда они при этом, да и вообще доказывая что-нибудь, недобросовестно спорят. *Например, я называю докторов мерзавцами за то, что они, побуждаемые корыстными целями, говорят, чего не знают, путают народ* (курсив мой. – С.С.)» [Толстой, 1952, т.50: 152]. Но важно отметить, что Толстой не отрицал естественно-научный подход как такой к изучению человека, но, по мнению М.В. Волоховой, считал его «недостаточным ввиду его узости и нейтральности. Жизнь интересует его прежде всего её аксиологичностью, её смысловым содержанием. Без человека жизнь в материи не имеет смысла, так как лишена своей идеальной сущности» [Волохова, 2000: 86]

В 1907 г. Г.П. Задёра выпускает брошюру «Лев Толстой о медицине и врачах». В письме к автору брошюры писатель поблагодарил за точное определение его мыслей «Я прочел вашу статью: “Толстой о Медицине и Врачах” и благодарю вас за вполне точное выражение моих мыслей и чувств о современной науке вообще и о медицине в частности. Особенно же порадовало меня в вашей статье выраженное вами сочувственное согласие с теми религиозно-нравственными основами, из которых само собой вытекает – и не может быть иначе – то отношение к современной науке и медицине, которое так верно выражено в вашей статье» [Толстой, 1956, т.77: 83].

Во втором издании Задёра отмечает главную причину негативного отношения к медицине – это отсутствие одухотворенности, правдивости в действиях врачей: «важные для физической жизни духовные процессы – там ищет Толстой те первопричины, которые порождают в человеке понижение “дела жизни” его, внешним образом выражающееся болезнью» [Задёра, 1915: 7].

Недоверие к медицине со стороны Л.Н. Толстого, как показывает Задёра, является демонстрацией недоверия и со стороны всего народа: «недоверие публики и народа к существующей научной медицине служит ясным показателем того, что медицина приняла несоответствующее интересам людей направление» [Задёра, 1915: 14].

В своём трактате «Так что же нам делать?» Толстой так опишет положение врача в современное ему время: «в еще худшем положении находится врач. Его воображаемая наука вся так поставлена, что он умеет лечить только тех людей, которые ничего не делают и могут пользоваться трудами других» [Толстой, 1937, т.25: 359].

В своей работе Задёра также говорит и о соотношении медицины и религии – эта тема с годами становилась всё важнее для Льва Толстого. Именно в ней писатель и определяет себя сторонником нравственно-религиозного учения «устаи многих своих представителей наука признаёт себя неспособной решить проблему человеческого существования; люди науки оказываются несостоятельными в отрицании той общей в наше время мысли, что, разрушив религиозные основы и отняв у человечества утешения религии, наука не могла заменить их чем-либо более определенным и прочным» [Задёра, 1915: 20]

Важной проблемой, по мнению Толстого, становится и неоднозначность понятия смерти в медицинской практике. В 1907 г. писатель в своём дневнике отметит эту мысль: «вред – и самый большой – медицины в том, что мешает спокойной торжественности процесса умирания» [Толстой, 1937, т.56: 40].

Неспособность устанавливать точные диагнозы «У меня изжога. Что это? медицина не знает, но знает, что есть желудок, желудочный сок, кишки и т. п., и на основании этих знаний предписывает лечение» [Толстой, 1937, т.56: 345], безнравственность медицины по отношению к бедным «безнравственен страх болезни и смерти, который вызывает медицинская помощь, безнравственно пользование исключительной помощью врачей, доступной только богатым» [Толстой, 1935, т.54: 137], преследование врачами корыстных целей «интересный разговор с Никитиным о медицине: о помощи людям, не зная, верно ли помощь; о том же, что ни страдания, ни смерть, от которых они хотят избавлять, не зло, а главное, что не может быть хорошим делом дело, делающееся из корыстных целей» [Толстой, 1952, т.57: 190] – всё это и многое другое Толстой описывал не только в свои дневниковых записях или письмах, но и в художественных текстах.

Но столь сильное сосредоточение на своём здоровье, а затем и одержимость страхом смерти привели к тому, что в начале XX в. ученые начинают изучать личность Л.Н. Толстого с точки зрения психопатологии. В этом ключе важна работа Г.В. Сегалина «Эвропатология личности и творчества Льва Толстого» 1925 г. По словам исследователя, чаще всего гениальность личности сопровождается отклонениями в её психике – это происходит и с Толстым «в личности и поведении Толстого есть целый ряд таких непонятных моментов, которые раскрываются лишь при психопатологическом анализе» [Сегалин, 1930: 2]. В частности, Сегалин считает, что эпилептические припадки, которыми страдал Толстой, и являются причиной возникновения страха смерти «что генез его (Толстого. – С.С.) богоискательства и мистического утверждения бога не есть результат философской концепции, а результат патологических переживаний, результат патологического настроения» [Там же: 97]. На примере разбора пережитого Толстым «арзамасского ужаса», Сегалин приходит к выводу, что

страх смерти у писателя является эквивалентом припадка, и он может вылиться в «озарения» или, наоборот, «отключение сознания» [Там же: 97].

Но научный подход к определению смерти в жизни человека является одним из вариантов прочтения этой темы. Наряду с отечественной медициной движется в этом направлении и русская литература, вбирающая в себя достижения науки и переосмысляющая их в рамках нарратологии.

1.2. Нарратология медицинского дискурса: событие, фабула, сюжет

Современное теоретическое видение сюжета как динамической категории сформировалось под значительным влиянием таких теоретиков как В. Шмид, Ю.М. Лотман, С.Н. Бройтман, Н.Д. Тмарченко и другие. По мнению С.Н. Бройтмана, в истории словесности существуют три порождающих художественных принципа – архаический синкретизм (ученый трактует его, как «нерасчлененно-слитное восприятие человеческой жизни и природы» [Бройтман, 2004: 13]), более поздний эйдос (сочетание конкретно-образного и отвлеченного начал), отвечающий за каноничность, риторичность, рефлексивность, и художественная модальность, где личность выступает как «автономный самоотжественный субъект» [Там же: 13].

Схожей точки зрения придерживается и Ю.М. Лотман. В своей статье «Происхождение сюжета в типологическом освещении» он утверждает, что в центре культуры находится мифопорождающее текстовое устройство. Его особенность заключается в отсутствии категории начала и конца: «текст мыслится как некоторое непрерывно повторяющееся устройство, синхронизированное с циклическими процессами природы» [Лотман, 1992: 224].

Выделяя два типа текста, Лотман обращает внимание, что первый тип организует мир слушателя, а второй добавляет интересные подробности к его знанию этого мира. Таким образом, именно синтез двух этих типов текста

является основой современного сюжетного текста. Несколько упрощая, можно сказать, что значение сюжетности как событийности будет усиливаться по мере исторического продвижения культуры от эпохи синкретизма к зрелому индивидуально-авторскому творчеству. По мнению учёных, текст не имеет своего финала, конца, так как происходит «диалог» между разными временными планами, где текст выступает инструментом коммуникации.

Достигая индивидуально-авторского творчества, сам текст приобретает новые качества, а также структуру. Такие тексты теперь называют нарративными. Термин «нарративный», по мнению В. Шмида, указывает на определенную структуру излагаемого материала. Такие тексты излагают некую историю, ситуацию. Для художника, создающего текст, важна такая исходная ситуация. Она предполагает событийное развертывание. По мнению Ю.М. Лотмана, «выделение событий и наделение их определенным смыслом, с одной стороны, а также определенной временной, причинно-следственной или какой-либо иной упорядоченностью, с другой, составляет сущность сюжета» [Лотман, 1992: 242]. Событийность всегда предполагает изменение исходной ситуации, которая заключается «в некоем отклонении от законного, нормативного в данном мире, в нарушении одного из тех правил, соблюдение которых сохраняет порядок и устройство этого мира» [Шмид, 2003: 43].

В своей работе «Нарратология» В. Шмид выделяет два условия, при которых событийность значима для текста. Первым основным условием событийности является фактичность или реальность изменения «изменения должны происходить в фиктивном мире, где разворачиваются те или иные события» [Шмид, 2003: 12]. Второе условие – результативность «изменение, образующее событие, должно быть совершено до конца наррации» [Там же: 12].

При этом изменение является событийным, по мнению В. Шмида, только при соответствии пяти критериям. Первый критерий степени

событийности – это релевантность изменения. Вторым критерием является непредсказуемость, т.е. событие предполагает некое противоречие. В повествовательном тексте происходит та последовательность действий, «которая в нарративном мире ожидается. Эту последовательность и нарушает событие» [Там же: 13]. Любое закономерное, ожидаемое изменение действий не является событийным. Следующий критерий – консекутивность, то есть вытекание одного из другого. Перемена взглядов героя сказывается тем или иным образом жизни. Так, В. Шмид отмечает, что такому типу героя, незавершенному, характерно изменение, которое исключает возможности вернуться в прежнее состояние (душевное, физическое) «в такой модели герой способен к глубокому, существенному самоизменению, к преодолению своих характерологических и нравственных границ» [Шмид, 2003: 12]. Это приводит к последним двум критериям реализации событийности – это неповторимость и необратимость. В случае «прозрения» герой достигает такого духовного и нравственного уровня, который исключает «возвращение к более ранним точкам зрения» [Там же: 12].

На проблему развертывания нарративного текста, надления его событийностью обратили внимание такие учёные как Ю.М. Лотман, И. Паперно, В.И. Тюпа и др. Проблема смерти становится в их работах доминирующей. Именно понимание смерти как события вносит в нарративный текст особые ситуации, которые могут препятствовать дальнейшему развертыванию сюжета.

В статье «Смерть как проблема сюжета» Ю.М. Лотман указывает на то, что дискретность индивидуального бытия «пока не сделалась объектом самосознания, <...> – “как бы не существует”» [Лотман, 1992: 419]. Жизнь течёт своим чередом, она продолжается, но до того момента, пока человек не осознал приближение смерти, его жизнь является бессобытийной. Все попытки продления своего существования, «консервирования» человека в здоровом состоянии и избавление его от страха смерти приводит к тому, что человеческая жизнь становится бессмысленной и бесконечной в рамках

нарративного текста, т.к. «то, что не имеет конца – не имеет смысла» [Там же: 417].

Учёный отмечает, что начало – конец и смерть неразрывно связаны друг с другом, попытка их осмысления даёт возможность человеку дать смысл жизненной реальности «понять место смерти в культуре значит осмыслить её в прямом значении этих слов, т.е. приписать ей смысл» [Лотман, 1992: 419]. Любые попытки сохранить жизнь от смерти, вычеркнуть из сюжетной линии «конец» характеризуется «неестественным чувством всего живого» [Там же: 419].

Особой формой преодоления смерти, а также выхода из сложившейся жизненной ситуации является самоубийство. В своей работе «Самоубийство как культурный институт» Ирина Паперно говорит о том, что в культуре явление самоубийства носит символический характер, затрагивающий основы человеческого бытия «подобно губке, впитывает в себя различные смыслы» [Паперно, 1999: 23]. Паперно в самом начале говорит, что самоубийство есть акт отрицания: «самоубийца ставит под сомнение идею осмысленности жизни» [Там же: 6], тем самым затрагивая такие общечеловеческие понятия жизни, смерти, страха, свободы и др.

Ярким примером становится монолог героя в «Записках сумасшедшего» Л.Н. Толстого «Я живу, жил, я должен жить, и вдруг смерть, уничтожение всего. Зачем же жизнь? Умереть? Убить себя сейчас же? Боюсь. Дождаться смерти, когда придет? Боюсь еще хуже. Жить, стало быть? Зачем? Чтоб умереть. Я не выходил из этого круга» [Толстой, Т.26: 473], в котором отчётливо видно суицидальные мотивы как единственно возможные для дальнейшего примирения с неизбежностью смерти.

По мнению Ирины Паперно, начиная с античных времён, совершение самоубийства носит характер парадигмы и некой модели. Допустим, смерть Сократа выступает как образец смерти-бессмертия «акта, направленного на освобождение души от тела» [Паперно, 1999: 11]. Своё дальнейшее развитие

идея добровольной смерти, жертвы закрепились за смертью Христа «которая неоднократно рассматривалась как самоубийство» [Там же: 12].

Одним из парадигматических самоубийств, по мнению Паперно, является смерть Катона, которую ставят наравне со смертью Сократа и Христа. В таком самоубийстве важную роль играет идея свободы и гражданственности.

Одним из русских Катонов стал и Радищев «самоубийство было для Радищева актом полного освобождения – от власти земных тиранов и от всеобъемлющего страха смерти» [Паперно, 1999: 20]. Именно страх смерти порождает желание найти выход из «этого лабиринта».

Одной из причины самоубийства представляется для исследователя культ чувствительности, получивший в XVIII в. всеобщую гласность «физиологическое явление, порождаемое телом и нервной системой» [Там же: 32]. В эпоху сентиментализма понятие чувствительности обещало доступ к человеческой душе через нервную систему «в частности, ожидалось, что удастся локализовать душу в пределах тела и его нервной системы посредством экспериментов над конвульсиями» [Там же: 17], тем самым добиться извлечения явлений, ведущих к самоубийству.

В последующем на проблему развертывания сюжета обратил внимание В.И. Тюпа. По его мнению, высказанному в работе «Анализ художественного текста», с точки зрения исторической поэтики существует система исторически сложившихся фаз сюжетного развертывания текста [Тюпа, 2009: 41]. Первая фаза называется обособление. Оно включает в себя помимо внешнего ухода, также уход «в себя», жизненную ситуацию, при которой ослабевают прежние связи «без такого выделения и концентрации внимания на носителе некоторого “я” текст не может претендовать на художественность» [Там же: 42].

Вторая фаза – партнерство, то есть обретение героем «помощника» или/и «вредителя». На этом этапе фабульного развертывания главный герой часто подвергается разного рода искушениям.

Третья фаза – переходная фаза испытания смертью «она может выступать в архаических формах ритуально-символической смерти героя или посещения им потусторонней “страны мертвых”, может заостриться до смертельного писка, а может редуцироваться до легкого повреждения или до встречи со смертью в той или иной форме» [Там же: 42].

Наконец, четвертая фаза – фаза преображения. Здесь происходит перемена статуса героя – внешнего или внутреннего, то есть психологического «весьма часто такое перерождение сопровождается возвращением героя к месту своих прежних, ранее расторгнутых или ослабленных связей, на фоне которых и акцентируется его новое жизненное качество» [Тюпа, 2009: 42].

Схожей точки зрения придерживаются Александр Жолковский и Юрий Щеглов. Они выделяют пять сюжетно-тематических блоков в детских рассказах Л.Н. Толстого, которые, по мысли исследователей, в простейших формах концентрированно воспроизводят основные приемы всей поэтической системы Толстого: мирная жизнь, катастрофа, неадекватная деятельность, спасательная акция и возвращенный покой. Каждый из героев проходит такую сюжетную линию, обязательно достигая «возвращённого покоя».

Мирная жизнь конкретизирует тему «подлинности простых, естественных ценностей». При этом радостное времяпрепровождение и уединение с природой служат предстоящим переходом от Мирной жизни к Катастрофе. Катастрофа образует контраст с наслаждением элементарными ценностями. Она конкретизирует нешуточность жизни, характеризуется размахом и неуправляемостью. Неадекватная деятельность сводится к созданию возможных путей спасения и возвращения к изначальному покою. Спасательная акция обычно совмещает вынужденность с тематическим элементом «интуитивность, нерассудочность»: акцентируется момент отсутствия сознательного принятия со стороны героя. Нерассудочность выражается в том, что субъект Спасательной акции действует

бессознательно, т.е. герой совершает действия, ещё не успев осознать и пережить произошедшее. Возвращенный покой является конкретизацией темы естественных, простых ценностей, возвращением героя к прежнему положению, что для писателя является главной целью [Жолковский, 2016: 55].

Таким образом, можно заметить, что постепенное, историческое изменение текста ведёт к общему усложнению его структуры. Если в мифологический период важной составляющей текста являлось его статичность, цикличность, исключая событийность, то для Нового времени и, в частности, для таких писателей как Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский и др. важны событийные развертывания. Жизнь героя представляется как череда событий, сменяющих друг друга, и отсутствие определённых событий, или попытка их переосмысления героем и писателем ведёт к особой повествовательной ситуации.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1

Таким образом, можно сделать вывод, что функция врача и медицины трансформируется с XVIII по XIX вв. – новое значение эти реалии приобретают под воздействием политических, социальных, религиозных, а также культурных (литературных) факторов. Своеобразное толкование медицинского института как чего-то неестественного приводит к возникновению народного недоверия к медицине, которая с каждой новой медицинской реформой в стране стремится внести свои изменения в человеческую жизнь, в первую очередь телесную.

Важной интеллектуальной практикой, с которой «граничит» медицина, становится в XIX в. литература. Оба дискурса, как литературный, так и медицинский, претендуют на осуществление жизнестроительной функции. Особые повествовательные стратегии русской литературы XIX столетия стали центром внимания современного литературоведения, уделившего большое внимание сюжету как динамической категории.

В последующем национальное отношение к медицинским попыткам дать жизни новый «научный» смысл и продлить её будет проиллюстрировано на материале творчества Л.Н. Толстого и И.А. Бунина.

ГЛАВА 2. МЕДИЦИНА КАК «МЕТАЛИТЕРАТУРА»: ОТ ТОЛСТОГО К БУНИНУ

2.1. Л.Н. Толстой и И.И. Мечников: начало диалога

В начале XX в. Илья Ильич Мечников, крупнейший теоретик отечественной и мировой медицины, биолог, физиолог и основатель геронтологии, в своей работе «Этюды оптимизма» приходит к выводу, что «да, продлить человеческую жизнь нужно и это полезно» [Мечников, 2012: 157]. Мечников разрабатывает концепцию ортобиоза, ставящей перед собой задачу найти способы точного определения «старческого вырождения», смерти с точки зрения науки, а также описание методов избегания старости и смерти.

Развивая одно из направлений своей фагоцитарной теории, учёный приходит к выводу, что явление старческой атрофии «характеризуется борьбой между благородными элементами организма и простыми, первичными – борьбой, заканчивающейся победой последних» [Мечников, 2011: 248], происходит разрушение фагоцитами (макрофагами) благородных элементов организма «силы ослабевают, тело горбится, волосы седеют, зубы изнашиваются. Одним словом, наступают явления старческой атрофии» [Там же: 259]. Микробная флора в толстой кишке является бесполезной, и яды, выделяемые кишечными бактериями, вызывают хронические отравления, «словом в виде изменений, характерных для старческого перерождения» [Там же: 261]. Мысля в медицинских категориях, Мечников замечает, что старость очень сходна с болезнью: «необходимо уничтожить болезни вообще и болезнь старости, в частности, посредством гигиены и медицины» [Мечников, 2012: 157].

Мечников выразил оригинальное суждение, что процессы жизнедеятельности могут проходить полный жизненный цикл от 90 до 120 лет, при котором человек уходит из жизни с сознанием завершенности и

инстинктом смерти. Именно инстинкт смерти делает уход человека желанным и естественным. По мнению В.А. Игнатъева, если предположение Мечникова об инстинкте смерти верно, «то бессмертная парадигма окажется ненужной, особенно – в её религиозном варианте. Более значимой окажется программа обеспечения в ближайшие десятилетия долгой, до 90 – 120 лет жизни сотен миллионов людей» [Игнатъев, 2010: 140].

Позиция учёного заключается в том, что жизнь – это «бессмыслица, тянущаяся на основании какой-то животной наследственности, без руководящего начала», а человек является дисгармоничным вследствие своего происхождения [Мечников, 2012: 165]. Именно посредством исключения старости и смерти Мечников планирует исключить любую дисгармонию в человеке.

В то же время в нарративной поэтике жизнь представляет собой череду постоянных изменений, событий. Всё, что происходит с человеком, является одномоментным и необратимым. Событийность и независимость сообщаются жизни духовной работой индивидуума, которая способствует движению героя по сюжетной линии.

Для Л.Н. Толстого категория смерти на протяжении всего своего жизненного и творческого путей подвергалась различным трактовкам, но одно оставалось несомненным – вычеркнуть смерть как событие из жизни невозможно. Так, в одной из бесед, как отмечает В.В. Вересаев в книге «Живая жизнь: <...>», Толстой резко высказался о мечниковской попытке поменять ход природы: «Он, профессор Мечников, хочет... исправлять природу! Он лучше природы знает, что нам нужно и что не нужно!.. У китайцев есть слово — “шу”. Это значит – уважение. Уважение не к кому-нибудь, не за что-нибудь, а просто уважение, уважение ко всему за все. Уважение вот к этому лопуху у частокола за то, что он растёт, к облачку на небе, к этой грязной, с водою в колях, дороге... Когда мы, наконец, научимся этому уважению к жизни?» [Вересаев, 1991: 148].

В последние десятилетия своей жизни Толстой окончательно становится на тот путь, который, по его мнению, является единственно правильным – это путь к Богу. Именно к этой истине приводят писателя все его поиски и открытия.

Теперь жизни не грозит смерть, а, наоборот, жизнь целенаправленно стремится к смерти. Так, в своих дневниковых записях Толстой писал в 1904 г.: «Смерть (и старость) не страшны и не тяжелы тому, кто, установив свое отношение к Богу, живет в нем, знает, что то, что составляет его сущность, не умирает, а только изменяется. И умирает и старится легко тот, кто не только знает это, но верит в это, верит так, что живет этим, так живет, что старость и смерть застают его за работой. Всякий знает, что умереть легко и хорошо, когда знаешь, за что, зачем умираешь, и самой смертью своей делаешь предназначенное себе дело» [Толстой, 1937, т.55: 54].

Именно различие в истолковании смерти и её места в бытии человека становится причиной возникновения интеллектуального диалога между Л.Н. Толстым и И.И. Мечниковым. Невозможность примириться с точкой зрения другого сразу же сформировало определенное представление друг о друге. Семён Резников в своей книге «Мечников» так писал об учёном: «К кому мчался он, постигший конечную Истину и видевший свою миссию в том, чтобы проповедовать эту Истину другим? К Толстому! К тому, кто сам постиг конечную Истину. Ах, если б они открыли одно и то же! Но у каждого была своя правда» [Резник, 1973: 8].

В своём дневнике Толстой так отзывается о Мечникове после первой с ним встречи: «он (Мечников. – С.С.) верит в свою науку, как в священное писание, а вопросы религиозно-нравственные ему совершенно чужды» [Толстой, 1936, т. 38: 530].

В то же время Мечников в статье «Современное состояние вопроса о старческой атрофии» пишет, что верование в Бога создало негативное отношение Толстого к научным открытиям «все попытки Толстого выйти из этого затруднения (экзистенциального кризиса. – С.С.) иначе, как при

помощи религии с его верованием в бессмертие, привели его только к отрицанию основ нашей цивилизации. Отсюда вытекла столь резкая ненависть против науки» [Мечников, 1925: 225].

Мысля в нарраталогических категориях, представитель литературного сообщества (Толстой) не принимает мечниковский акт отрицания смерти. Уже сформировав отношение к научной деятельности Мечникова, Лев Толстой, по мнению Могилевского, уже заранее приготовил речь: «меня напрасно обвиняют в том, что я противник религии и науки. И то и другое совершенно несправедливо. Я высоко ценю истинную науку, ту, которая интересуется человеком, его счастьем и судьбой, но я враг той ложной науки, которая воображает, что она сделала что-то необыкновенно важное и полезное, когда она определила спутников Сатурна или что-нибудь в этом роде. Какое благо человеку от знания веса и размеров планеты Марс и тому подобного?» [Могилевский, 1958: 299].

В своём дневнике от 1907 г. Толстой развивает идею о движении человека в двух направлениях: в телесном (позиция Мечникова/медицины), при котором все силы человека должны быть направлены на своё физическое совершенствование, и духовном (позиция Толстого/литературы), когда все силы направлены на духовное совершенствование «для того, чтобы жить не мучительно, надо иметь надежду радости впереди себя. Какая же может быть надежда радости, когда впереди старость и смерть? Есть только один выход из этого положения: положить свою жизнь в духовном совершенствовании, во все большем и большем соединении с Богом. Только тогда жизнь есть неперестающая радость и такая же радость смерть» [Толстой, 1937, т.56: 7].

Годом позже Толстой напишет, что смерть, казавшаяся ему освобождением от оков мирского/телесного, есть прекращение процесса освобождения [Толстой, 1956, т.78: 67]. Такая функция смерти, конечно, не могла войти в научную трактовку жизнестроительства И.И. Мечникова.

В очерке «Миросозерцание и медицина», в котором И.И. Мечников изложил основные тезисы своей предыдущей работы «Этюды оптимизма»,

учёный пытается выстроить диалог с литературным сообществом. По мнению Мечникова, человек является от природы несовершенным и только научным познанием возможно его усовершенствовать «всем известно, что русские мыслители считают человеческую природу вполне совершенной <...> но природа дурно создала человека, только своими руками может он усовершенствовать себя» [Мечников, 1925: 266].

В работе ученый намечает пути дальнейшего диалога с Л.Н. Толстым, где расставляются важные акценты позиции Мечникова. Во-первых, он отмечает приверженность людей, одаренных к осуществлению цели в жизни, которая дана якобы свыше «поэты, одаренные тонким чутьём, давно подметили, что человек страстно стремится к особенной цели, но они не могли определить в чём она заключается» [Там же: 277]. Во-вторых, как человек с научным взглядом на жизнь, Мечников отрицает веру в Бога, а, следовательно, и её трактование смерти «большинство людей думали и продолжают думать, что смерть не есть настоящий конец жизни, и что после смерти наступит другая, вечная жизнь» [Там же: 276]. Врач приходит к выводу, что только при помощи науки человек способен исправить несовершенства своей природы, что в свою очередь ставит медицину в позицию «металитературы», диктующей свои правила.

Своей позиции Мечников придерживается и в работе «Закон жизни», в которой Мечников приводит несколько комментариев по поводу произведений графа Л. Толстого. В ней ученый применяет методы точной науки к той философии, которая реализуется в текстах Толстого «попытаемся взглянуть несколько ближе на это учение, применив при этом методу и приемы точного естествознания» [Там же: 204]. Как отмечает Б.Л. Могилёвский, в книге «Илья Ильич Мечников», учёный никак не мог смириться с философскими и религиозными воззрениями Толстого «он не мог спокойно читать утверждение Толстого: “Бессмыслица жизни есть единственное несомненное знание, доступное человеку”. Эти слова для Ильи

Ильича, испытавшего много потрясений в жизни и познавшего радость научного творчества, звучали кощунственно» [Могилевский, 1958: 178].

Согласно теории Мечникова, наука приводит жизнь человека к логическому и естественному порядку «человек есть животная машина, своеобразно устроенная и пригодная для совершенно определенных действий» [Мечников, 1925: 201]. По мнению биолога, если человек проделывает все эти действия, то он достигает счастья «вместе с ним чувство довольства и удовлетворения», а если такого соответствия нет, то получается несчастье [Там же: 201].

Как для Мечникова было важно удовлетворение человеком своей жизнью, обретение утопического счастья в бессмертии, так и для раннего Толстого были характерны поиски в области литературной концептуализации «счастья», которое в нарративном плане было тесно связано с постановкой проблемы смерти.

2.2. «Счастье» как ключевое звено в нарративной трактовке смерти

В повести 1859 г. «Семейное счастье» Толстой рисует главную героиню Машу в поисках истинного, семейного счастья «мне казалось очень просто и ясно, что жить надо для того, чтобы быть счастливою, и в будущем представлялось много счастья» [Толстой, 1935, т.5: 73]. Для молодой девушки было важно приобрести священный союз, характеризующийся вечными связями между двумя влюбленными: «Мне казалось, что мы вдвоем будем так бесконечно и спокойно счастливы. И мне представлялись не поездки за границу, не свет, не блеск, а совсем другая тихая семейная жизнь в деревне, с вечным самопожертвованием, с вечною любовью друг ко другу и с вечным сознанием во всем кроткого и помогающего Провидения» [Там же: 94]. Как видно, реализация такого мечтания со всей неизбежностью должна остановить сюжет.

Постепенно главная героиня, достигая своего заветного счастья, осознаёт, что жизнь её как будто остановилась. Жизнь с любимым оборачивается для неё вечной скукой, она не чувствует никакого движения. В расцвете сил Маша жаждет открыть для себя новый мир: «я чувствовала, что во мне был целый новый мир, которого он не понимал, и который был выше его» [Толстой, 1935, т.5: 95]. Но её муж, Сергей Михайлыч, испытавший за свою долгую жизнь все радости, понимает, что не может ей дать той жизненной энергии, которой она требует от него «Я подошла было к фортепьяно, но он запер его и спрятал ключ в карман. – Не портите своего настроения, – сказал он: – у вас теперь в душе такая музыка, которая лучше всякой на свете», «Вы молоды, – сказал он, – я не молод. Вам играть хочется, а мне другого нужно» [Там же: 97].

Мечта о «тихой уединенной жизни в деревенской глуши» вводит героиню в сложную нарративную ситуацию, в пространство бессобытийности. Она прекращает двигаться в повествовательном плане «<...> мне нужна была борьба; Мне хотелось подойти с ним вместе к пропасти и сказать: вот шаг, я брошусь туда, вот движение, и я погибла» [Толстой, 1935, т.5: 112], «зато и я права, когда мне скучно, пусто, когда я хочу жить, двигаться, – думала я, – а не стоять на одном месте и чувствовать, как время идет через меня. Я хочу идти вперед и с каждым днем, с каждым часом хочу нового» [Там же: 113].

Ей было мало просто любить, после достигнутого счастья, ей нужно было движение, которое могло ей дать только городское, а не деревенское пространство «мне хотелось движения, а не спокойного течения жизни. Мне хотелось волнений, опасностей и самопожертвования для чувства. Во мне был избыток силы, не находивший места в нашей тихой жизни» [Толстой, 1935, т.5: 111].

В результате героиня разочаровывается в жизни, не испытывает никакого желания жить – только быть, существовать. Отсутствие духовной работы, вызванное постоянной праздностью, как показывает Толстой, делает

жизнь антисюжетной, ведь тот, кто не испытывает желания жить, в духовном плане умирает. Семейное счастье превращается в несчастье «мы жили каждый порознь» [Толстой, 1935, т.5: 53]. В итоге, героев романа продолжают связывать только дети, а не священные узы любви, которых так желала Маша «осталась любовь, но не та, осталось её место, но она вся выболела, нет уж в ней силы» [Там же: 143].

С годами тема семейного счастья не перестала волновать Толстого, и на смену «тихой уединенной жизни в деревенской глуши» приходит действительность со всей её порочностью и развратностью города. В 1877 г. Лев Толстой заканчивает роман «Анна Каренина», а в 1890 г. публикуют повесть «Крейцера соната», которая в силу своего «скандального характера» была поначалу запрещена цензурой. «Да как же жить с человеком, когда любви нет?» [Толстой, 1936, т.27: 11] – фраза, которая проходит через вышеперечисленные тексты и как кажется, продолжает спустя более чем тридцать лет повесть о Маше. «Крейцеровой сонатой», её «Послесловием...» и «Анной Карениной» Толстой подводит итог той жизни, которая только складывалась в «Семейном счастье», и результаты встревожили самого писателя: «я ужаснулся своим выводам, хотел не верить им, но не верить нельзя было» [Там же: 89].

Семейное счастье невозможно без любви духовной – вот главная мысль, которую Толстой, как лейтмотив, проводит через все свои тексты: «подразумевается любовь духовная, а не чувственная. Ну, если любовь духовная, духовное общение, то словами, разговорами, беседами должно выразиться это духовное общение» [Толстой, 1936, т.27: 28]. В повести «Крейцера соната» герой приходит к выводу, что когда человек достигает своей жизненной цели, тогда ему незачем жить «если есть цель жизни, то ясно, что жизнь должна прекратиться, когда достигнута цель» [Там же: 30]. «Счастье», как цель, становится одним из ключевых звеньев в нарративной поэтике Толстого. Достижение счастья посредством чувственного, а не духовного сближения, по мнению автора, приравнивается к

обесмысливанию жизни. В «Анне Карениной», как и в «Крейцеровой сонате» именно страсть, разжигание похоти и отодвигают человечество этой цели, поэтому в качестве нравственного руководства Толстой предлагает духовное общение и любовь к каждому: «наступит время, когда все существа будут соединены любовью. Весь смысл человеческой жизни заключается в движении по направлению к этому идеалу. Потому стремление к христианскому идеалу во всей его совокупности и к целомудрию, как к одному из условий этого идеала, не только не исключает возможности жизни, но, напротив того, *отсутствие этого христианского идеала уничтожило бы движение вперед и, следовательно, возможность жизни* (курсив мой. – С.С.)» [Толстой, 1936, т.27: 85].

Отсутствие духовного общения приводит к тяжёлым последствиям: сначала «обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами <...> два совершенно чуждые друг другу эгоиста» [Толстой, 1936, т.27: 33], мотивы, повторяющиеся в «Семейном счастье», «Крейцеровой сонате», а потом «Дурачьё! Думают, что я убил её тогда, ножом, пятого октября. Я не тогда убил её, а гораздо раньше...» [Там же: 35].

Приоритет чувственному Толстой отдаёт в любви Анны и Вронского в романе «Анна Каренина». Семейное счастье отсутствует в их жизни по причине вспыхнувшей, но не переродившейся в настоящую любовь, страсти «как часто счастье браков по рассудку разлетается как пыль именно оттого, что появляется та самая страсть, которую не признавали» [Толстой, 1934, т.18: 146]. Их союз – это преступление: «и с озлоблением, как будто со страстью, бросается убийца на это тело, и тащит, и режет его; так и он покрывал поцелуями её лицо и плечи» [Там же: 159]. Безжизненность, которую ощущает Маша в «Семейном счастье», в полной мере раскрывается в смерти Анны и Вронского в финале романа.

Таким образом, в каждом из сюжетов Толстой формулирует и старается разрешить проблему тривиального, «бытового» счастья как потенциальной безжизненной формы (смерти). Поэтому «счастливая» жизнь

представляется Маше уходящим существованием «время уходило, снег заносил больше и больше стены дома, и мы всё были одни и одни, и всё те же были мы друг перед другом; а там где-то в блеске, в шуме волновались, страдали и радовались толпы людей, не думая о нас и о нашем уходящем существовании» [Толстой, 1935, т.5: 112].

2.3. Медицинский дискурс и повествование: роман «Анна Каренина»

На протяжении всей своей жизни Лев Толстой пережил два серьезных кризиса: в 70-х и 80-х гг. XIX в. Как отмечает Б.М. Эйхенбаум, данные «остановки» являются не просто «душевными явлениями, обусловленные натурой или обстоятельствами жизни, а это определенные творческие акты, моменты освобождения, эволюции» [Эйхенбаум, 2009: 31].

Первым кризисом становится период после публикации романа «Война и мир». Л.Н. Толстой не ожидал последовавших оскорблений от журнальных критиков. Это стало одной из главных причин для ухода из литературы, приостановки своей художественной деятельности. Такие «паузы», характеризующиеся осмыслением и переосмыслением своей миссии и места в жизни, по мнению Б.М. Эйхенбаума, особенно мучительны и чреваты последствиями «он так занят своей судьбой, своей исторической миссией, что всякая пауза, всякая остановка кажется ему катастрофой» [Там же: 576].

Писательство объявляется «человеческой слабостью» и «дурной страстью» – об этом Толстой заявляет осенью 1871 г. в письме к редактору газеты «Гражданин» (В.П. Мещерскому): «Я ничего не пишу, надеюсь и желаю ничего не писать, в особенности не печатать; но если бы даже я по человеческой слабости поддался опять дурной страсти писать и печатать, то я во всех отношениях предпочитаю печатать книгой. <...> По правде же вам сказать, я ненавижу газеты и журналы – давно их не читаю и считаю их вредными заведениями для произведения махровых цветов, никогда не дающих плода, заведениями, непроизводительно истощающими умственную

и даже художественную почву. <...> Газетная и журнальная деятельность есть умственный бордель, из которого возврата не бывает» [Толстой, 1953, т.61: 257].

В это морально тяжелое время была задумана и начата «Анна Каренина». Этот роман становится последним классическим произведением Толстого, где в образе Константина Лёвина предчувствуется не только мировоззренческий кризис биографического автора, но и формулируются проблемы смерти и счастья, которые, будучи явлениями событийной статики, обретают нарратологический аспект и быстро становятся проблемами повествовательными.

В начале романа мы видим героя, которому «казалось, что та жизнь, которую он сам ведет, есть одна настоящая жизнь» [Толстой, 1934, т.18: 21]. У него есть определенные взгляды на жизнь, он стремится к воплощению своих идей и замыслов. Но единственное, чего ему не хватает, это настоящей любви. По мнению Ю.И. Айхенвальда, каратаевская любовь ко всему, которая присуща Лёвину, «как часто показывает Толстой, в своем истоке рождается в человеке из горячей любви к самому себе, из чувства собственного счастья <...> обогащение – всякое дело любви, и чем больше мы отдаем, тем обильнее становится наш внутренний мир, и в конце концов одна индивидуальность так в подвиге своей жертвы переносится в другую» [Айхенвальд, 1920: 53].

Лёвин хочет создать семейный очаг, на который он хочет направить всю свою жизненную энергию «это был мир, в котором жили и умерли его отец и мать. Они жили тою жизнью, которая для Лёвина казалась идеалом всякого совершенства и которую он мечтал возобновить с своею женой, с своею семьей» [Толстой, 1934, т.18: 102]. Именно в любви к Катерине Щербацкой герой находит истинное счастье «только одно было на свете существо, способное сосредоточивать для него весь свет и смысл жизни. Это была Кити» [Толстой, 1957, т.23: 293]. Эта именно та мирная жизнь, к

которой стремится герой «Да, – думал он, – вот это жизнь, вот это счастье!» [Толстой, 1934, т.18: 34].

Но когда надежды на молодую Кити рушатся, Лёвин уезжает из противного для него города в свою любимую деревню. Только в сопричастности с народом, с простыми деревенскими мужиками, Лёвин так же, как и Толстой, чувствует «общую жизнь человечества». Но, как отмечает Э. Бабаев в работе «“Анна Каренина” Л.Н. Толстого», писатель не ведёт речь о том, что у мужика есть вера, а у помещика её нет – «речь идет о духовных ценностях, которые одинаково доступны людям разных состояний, что и является, по мнению Толстого, настоящей основой “связи интересов”» [Бабаев, 1978: 41]. Как Толстой, так и Лёвин посредством работы с мужиками открывает для себя новые истины «Лёвину в первый раз ясно пришла мысль о том, что от него зависит переменить ту столь тягостную, праздную, искусственную и личную жизнь, которою он жил, на эту трудовую, чистую и общую прелестную жизнь» [Толстой, 1934, т.18: 291].

Желая помочь своим мужикам, Лёвин принимается за попытку создать новое устройство хозяйства. Например, Лёвин по дороге из усадьбы в деревню думает: «им там все праздник, а тут дела непраздничные, которые не ждут и без которых жить нельзя» [Толстой, 1935, т.19: 144]. Герой как бы повторяет путь Толстого «спасло меня только то, что я успел вырваться из своей исключительности и увидеть жизнь настоящую простого рабочего народа, и понять, что это только есть настоящая жизнь» [Толстой, 1957, т.23: 44]. Некоторые мысли Лёвина также схожи с дневниковыми записями Толстого: «Давно уже ему хозяйственные дела не казались так важны, как нынче» [Бабаев, 1978:16].

Но такой душевный порыв становится временным для главного героя. «Семейного счастья», которого он жаждет, всё ещё нет. Герой становится как бы на перепутье. И только одно событие порождает движение в душе, а потом и в жизни героя, это мгновение – проезжающая мимо его земель Кити.

И Лёвин делает для себя вывод: «нет, как ни хороша эта жизнь, простая и трудовая, я не могу вернуться к ней. Я люблю ее» [Толстой, 1934, т.18: 294].

Жизненный путь Лёвина становится проекцией жизненного пути Льва Толстого. Достигая своего семейного счастья с Кити, Константин Лёвин переживает тот же экзистенциальный кризис, что и Толстой в своём житетворчестве «Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить. А знать я этого не могу, следовательно, нельзя жить» [Толстой, 1835, т.19: 371]. Достижение семейного счастья становится недостаточным для Лёвина – Толстого.

Важна мысль В.Е. Ветловской, высказанная в статье «Поэтика “Анны Карениной”»: система неоднозначных мотивов», о том, что желание становится побудительной силой жизни героя «руководствуясь своими желаниями, люди стремятся к одному результату, *одной черте*, которую они полагают для себя счастьем и которую видят в осуществлении желаний (курсив мой. – С.С.)» [Ветловская, 1997: 23]. Получается, что Лёвин, желая достичь своей цели (семейного счастья), живёт этим желанием. Желать и жить становятся синонимами для героя – эту же идею Лев Толстой высказывает в письме к Н.Н. Страхову от 30 ноября 1875 г.: «если бы было ясно для вас, как ясно для меня, что любить, желать и жить – одно и то же» [Толстой, 1934, т.63: 226].

В итоге литературный сюжет героя, который должен быть основан на динамике и трансформации, приводит к тому, с чем Толстой начнёт неустанно спорить с Мечниковым, а именно по поводу проблемы смерти.

Дисгармония, которую ощущает Лёвин, полностью находится в сфере психологической, философской. На примере главного героя можно понять, что теория Мечникова полностью игнорирует нравственную и религиозную составляющие. По мнению Толстого, только они становятся решающими в кризисных ситуациях.

Именно в точке «успокоения», счастья на Лёвина наваливаются суицидальные настроения «счастливый семьянин, здоровый человек, Лёвин

был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться» [Толстой, 1935, т.19: 372]. Это настроение мы находим и в дневниках самого Толстого: «Я всеми силами стремился прочь от жизни. Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни» [Толстой, 1957, т.23: 12].

Нарративный и экзистенциальный кризисы, отразившиеся в образе Лёвина, охватили Л.Н. Толстого в сентябре 1869 г., после пережитого «арзамасского ужаса». Этому свидетельствует и письмо к С.Н. Толстому, в котором чувствуется испытываемый писателем ужас: «Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе. Было 2 часа ночи, я устал страшно, хотелось спать и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал. Подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай Бог испытать» [Толстой, 1938, т.83: 167].

В своей работе «В конце туннеля...Смерти Льва Толстого» О. Ханзен-Лёве пишет, что смерть для Толстого представляется не просто фактом, вызывающий страх. В большей степени его занимает процесс умирания, который застигает героев в самом расцвете сил. Смерть не обрушивается на них как трагическое происшествие, а незаметно подкрадывается «таится в самых незначительных деталях, случайных намеках, которые, однако, все “сгущаются” до тех пор, пока присутствие смерти не становится очевидным» [Ханзен-Лёве, 2011: 182]. Такое присутствие и ощущает Лёвин в романе.

После события 1869 г. житнетворчество Л.Н. Толстого с точки зрения нарративности остановилось. Все его последующие тексты можно считать бессюжетными, представляющими собой циклический круг, в начале и в конце которого Толстому видится только смерть.

Осознание бессмысленности жизни приводит к тому, что в 1884 г. возникает замысел «Записок сумасшедшего», в которых писатель хочет осмыслить пережитый им «арзамасский ужас»: «всё существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся

смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно» [Толстой, 1936, т.26: 470]. С этого момента Толстой становится одержим смертью, а она становится его вездесущей фобией «она придет, она вот она, а ее не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал, тогда бы я боялся. А теперь и не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть» [Там же: 470]. Примечательно, что в «Записках сумасшедшего», по мнению В. Шкловского, главному герою не помогает чтение Библии, ему «больше помогло Евангелие и ещё больше “Жития святых” – рассказы о почти обычной, но в то же время оправданной верой жизни» [Шкловский, 1963: 427]. Именно здесь Л.Н. Толстой уже проявляет своё отношение к канонической вере.

Ещё одной попыткой Львом Толстым понять смерть стала повесть «Смерть Ивана Ильича» 1886 г. Главного героя так же, как и самого Толстого одолевают вопросы и страх смерти «в глубине души он знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого» [Толстой, 1936, т.26: 93]. Но в последние минуты своей жизни к нему приходит озарение, что смерти нет. Прежний страх смерти исчез, и на смену ему приходит новое религиозное убеждение для Толстого «он не находил. Где она? Какая смерть? Страху никакого не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет» [Там же: 113].

Иван Ильич переживает смерть как некоторую оживленную сущность: «...он увидел ее. Она мелькнула, он еще надеется, что она скроется», – но «она», смерть, напротив, все разрасталось, становясь той смертью, «которая одна была действительность» [Толстой, 1936, т.26: 99]. По мнению Ханзен-Лёве, герой достигает в этом эпизоде такой точки, когда и жизнь, и смерть теряют свой смысл «именно это преобразование переходящей ни во что жизни в овладевающую всем смерть делает умирание апогеем существования» [Ханзен-Лёве, 2011: 192].

Как автору «Записок сумасшедшего», так и главному герою романа «Анна Каренина» Лёвину важно остановиться в пространстве и времени, оторваться от жизни и взглянуть на неё с другой стороны. Они пытаются дать ответы на волнующие их вопросы: «Зачем жить? Зачем что-нибудь делать?». Как романтический герой, Лёвин не завершён, поэтому он находится в постоянных поисках. Может показаться, что Толстой специально ставит своего героя в положение лжезавершенности: Лёвин, достигая своей цели – обретение семейного счастья, на самом деле счастья как такового не находит. Нет той завершенности, которая привела бы героя к нравственным итогам. Поэтому Лёвин ощущает некую неполноту жизни [Бахтин, 1975: 461].

Первый разговор Лёвина о бытии состоялся в разговоре с братом и его собеседником в начале романа «речь шла о модном вопросе: есть ли граница между психическими и физиологическими явлениями в деятельности человека и где она?» [Толстой, 1934, т.18: 28]. В этом эпизоде Толстой даёт понять, что для Лёвина не просто не чужды размышления о жизни и смерти, а они его временами одолевают «Лёвин встречал в журналах статьи, о которых шла речь, и читал их, интересуясь ими, как развитием знакомых ему, как естественнику по университету, основ естествознания, но никогда не сближал этих научных выводов о происхождении человека как животного, о рефлексах, о биологии и социологии с теми вопросами о значении жизни и смерти для себя самого, которые в последнее время чаще и чаще приходили ему на ум» [Там же: 28].

Первый раз Лёвин столкнулся лицом к лицу со смертью при виде умирающего брата Николая «смерть, неизбежный конец всего, в первый раз с неотразимой силой представилась ему. И смерть эта, которая тут, в этом любимом брате, с просонков стонущем и безразлично по привычке призывавшего то Бога, то чёрта, была совсем не так далеко, как ему прежде казалось. Она была и в нём самом – он это чувствовал» [Толстой, 1934, т.18: 368]. Пережитая Лёвиным ночь с рядом лежавшим

больным братом напоминает эпизод из жизни Льва Толстого, когда умирает брат Николай.

По мнению Д.С. Мережковского, высказанному в его работе «Толстой и Достоевский», припадок страха смерти Л.Н. Толстого, который чуть не довёл писателя в конце семидесятых годов до самоубийства, был не первым «нечто подобное он испытал пятнадцать лет назад при смерти брата Николая. Тогда он чувствовал себя больным и предполагал в себе ту же болезнь, от которой умер брат – чахотку» [Мережковский, 2000: 30].

В письме к А.А. Фету от 1860 г. Толстой пишет о смерти брата Николая, которая столкнула писателя лицом к лицу со смертью: «20 сентября он умер, буквально на моих руках. Ничто в жизни не делало на меня такого впечатления. Правду он поговаривал, что хуже смерти ничего нет. А как хорошенько подумать, что она все-таки конец всего, так и хуже жизни ничего нет. Для чего хлопотать, стараться, коли от того, что было, Н.Н. Толстой, для него ничего не осталось. Он не говорил, что чувствует приближение смерти, но я знаю, что он за каждым шагом ее следил и верно знал, что еще остается. За несколько минут перед смертью он задремал и вдруг очнулся и с ужасом прошептал: “Да что ж это такое?” Это он ее увидел – это поглощение себя в ничто. *А уж ежели он ничего не нашел, за что ухватиться, что же я найду? Еще меньше (курсив мой. – С.С.)*» [Толстой, 1949, т.60: 357].

Интересно, что в творчестве Толстого сцена Конца всегда пересекается со сценой Начала. Так, смерть Николая Лёвина совпадает с начинающейся беременностью Кити, а рождение сына у Лёвина происходит одновременно со смертью Анны Карениной. По мнению П.М. Бицилли, такие символические эпизоды заостряют «двойственность тайны жизни, мистическое сродство Начала и Конца» [Бицилли, 2000: 484]. Такой циклический хронотоп, сюжетное построение указывают, что Толстой понимал жизнь как «постоянное обновление природы» [Волохова, 2000: 90].

Своей внезапно открывшейся неизбежностью, смерть ставит Толстого – Лёвина в положение неопределенности: зачем делать что-то, если всё это

бессмысленно «не нынче, так завтра, не завтра, так через тридцать лет, разве не все равно? А что такое была эта неизбежная смерть, – он не только не знал, не только никогда и не думал об этом, но не умел и не смел думать об этом» [Толстой, 1934, т.18: 369].

Таким образом, и автор, и герой сами того не понимая, отрывают себя от реальности. Событийность их жизни искажается и превращается в антисюжетную избыточную бесконечность, возникает проблема развертывания письма «я работаю, я хочу сделать что-то, а я и забыл, что все кончится, что – смерть» [Толстой, 1934, т.18: 369]. Происходит остановка жизнедеятельности вследствие понимания конца всего.

По мнению В.И. Тюпы, высказанному в работе «Анализ художественного текста», рассуждения героя «не образует никакого сюжетного события» [Тюпа, 2009: 50]. Поэтому все размышления и комментарии Лёвина по поводу смерти и счастья выводят его за пределы событийного ряда. Он ввергает себя в безвременье, потому что стремится к статичной жизни, исключая любые изменения. По мнению В.Я. Галаган, попытка приобрести своё непонимание оборачивается кризисными остановками «“остановки” жизни, чередование “оживлений” и “умираний”, появление раздвоенности и неизменного вопроса: “Зачем? Ну, а потом?”» [Галаган, 2002: 75].

В работе «Лев Толстой. Семидесятые годы» Б.М. Эйхенбаум отмечает, что на поведение Константина Лёвина можно посмотреть с двух сторон: с одной стороны, герой живёт подлинной жизнью и занят делами насущными, настоящими, а с другой – «смотрит за пределы жизни» [Эйхенбаум, 2009: 675], выходя за пределы событийности.

Такая жизнь, вечно обременённая смертью, меняет Лёвина, его поведение. В разговоре с братом Николаем Лёвин чувствует, что через любой разговор просачивается мысль о смерти, а сам диалог кажется ненатуральным «теперь у них обоих была одна мысль – болезнь и близость смерти Николая, подавлявшая все остальное. Но ни тот, ни другой не смели

говорить о ней, и потому все, что бы они ни говорили, не выразив того, что одно занимало их, – все было ложь. Никогда Лёвин не был так рад тому, что кончился вечер, и надо было идти спать. Никогда ни с каким посторонним, ни на каком официальном визите он не был так ненатурален и фальшив, как он был нынче. И осознание, и раскаяние в этой ненатуральности делало его еще более ненатуральным. Ему хотелось плакать над своим умирающим любимым братом, и он должен был слушать и поддерживать разговор о том, как он будет жить» [Толстой, 1934, т.18: 368].

Но при этом Лёвина не покидает и другая мысль – жизнь продолжается «так он жил, не зная и не видя возможности знать, что он такое и для чего живет на свете, и мучаясь этим незнанием до такой степени, что боялся самоубийства, и вместе с тем твердо прокладывая свою особенную, определенную дорогу в жизни» [Толстой, 1935, т.19: 374]. Эту дорогу прокладывал и Лев Толстой. Б.М. Эйхенбаум подчеркивает, что сложившийся жизненный кризис был переосмыслен Толстым, он принял этот этап жизни как «результат обступивших его новых противоречий, корень которых – не в его душе, а в его историческом положении, в проблеме дальнейшего поведения и отношения к окружающей его действительности» [Эйхенбаум, 2009: 672].

Важными для нарративной поэтики романа становятся сцены родов Кити и грозы в финале романа, которые переворачивают внутренний мир Константина Лёвина, приводят его к динамике.

Сцена родов Кити предстаёт как «катастрофа», которую переживает Лёвин «все те обыкновенные условия жизни, без которых нельзя себе ничего представить, не существовали более для Лёвина. Он потерял сознание времени. То минуты, – те минуты, когда она призывала его к себе, и он держал ее за потную, то сжимающую с необыкновенною силою, то отталкивающую его руку, – казались ему часами, то часы казались ему минутами» [Толстой, 1935, т.19: 291].

Возможным путём спасения, который может привести к первоначальному покою, становится обращение к Богу «он, неверующий, стал молиться и в ту минуту, как молился, верил» [Там же: 370] – в этом реализуется акт «неадекватной деятельности», по А. Жокловскому и Ю. Щеглову. Но по Толстому, лёвинское бессознательное обращение к Богу является не «неадекватной деятельностью». Бог – это то, что всегда присутствовало в герое и только в такие эмоционально-напряженные моменты раскрывается «теперь, в эту минуту, он знал, что все не только сомнения его, но та невозможность по разуму верить, которую он знал в себе, нисколько не мешают ему обращаться к богу. Все это теперь, как прах, слетело с его души. К кому же ему было обращаться, как не к тому, в чьих руках он чувствовал себя, свою душу и свою любовь?» [Толстой, 1935, т.19: 287], «но, когда он увидел опять ее страдания, он чаще и чаще стал повторять: “Господи, прости, помоги”, вздыхать и поднимать голову кверху; и почувствовал страх, что не выдержит этого, расплачется или убежит. Так мучительно ему было» [Там же: 291].

Сцена родов становится вторым потрясением для Лёвина после смерти брата Николая. Он понимает, что два этих события в его жизни становятся вне ряда обычных условий жизни. Они предстают для Лёвина «как будто отверстия, сквозь которые показывалось что-то высшее. И одинаково тяжело, мучительно наступало совершающееся, и одинаково непостижимо при созерцании этого высшего поднималась душа на такую высоту, которой она никогда и не понимала прежде и куда рассудок уже не поспевал за нею» [Там же: 292].

Во второй сцене, когда герой узнаёт, что во время ливня и грозы Кити и его сын Митя находятся в лесу, в небезопасности, Лёвин, не понимая почему, обращается к Богу «Боже мой! Боже мой, чтоб не на них! – проговорил он. И хотя он тотчас же подумал о том, как бессмысленна его просьба о том, чтоб они не были убиты дубом, который уже упал теперь, он

повторил ее, зная, что лучше этой бессмысленной молитвы он ничего не может сделать» [Там же: 395].

В этом эпизоде Лёвин начинает находить ответы на вопросы, которые так мучили его: «Я, воспитанный в понятии Бога, христианином, наполнив всю свою жизнь теми духовными благами, которые дало мне христианство, преисполненный весь и живущий этими благами, я, как дети, не понимая их, разрушаю, то есть хочу разрушить то, чем я живу. А как только наступает важная минута жизни, как дети, когда им холодно и голодно, я иду к Нему, и еще менее, чем дети, которых мать бранит за их детские шалости, я чувствую, что мои детские попытки с жиру беситься не зачитываются мне» [Толстой, 1935, т.19: 382]. Герой осознаёт, что вся его жизнь «каждая минута ее – не только не бессмысленна, как была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее!» [Там же: 401].

Всё это приводит к главной финальной сцене романа, в которой Лёвин «чувствовал в своей душе что-то новое и с наслаждением ощупывал это новое, не зная еще, что это такое» [Там же: 377]. И в этот момент к герою приходит понимание истина, которая не только всегда жила в нём, но и дано с самого рождения «Я ничего не открыл. Я только узнал то, что я знаю. Я понял ту силу, которая не в одном прошедшем дала мне жизнь, но теперь дает мне жизнь. Я освободился от обмана, я узнал хозяина» [Там же: 378], а также «Да, то, что я знаю, я знаю не разумом, а это дано мне, открыто мне, и я знаю это сердцем, верю в то главное, что исповедует церковь» [Там же: 382].

Д.С. Мережковский в своей работе описал точку зрения Ф.М. Достоевского по поводу той веры, которую пока только чувствует Лёвин. В своей статье «Дневник писателя» за 1877 г. Достоевский приходит к выводу, что будущая вера Лёвина «это – барич, московский барич средне-высшего круга. – Все-таки в душе его, как он ни старайся, останется оттенок чего-то, что можно, я думаю, назвать *праздношатайством*. – А веру свою он разрушит опять, разрушит сам – долго не продержится: выйдет какой-нибудь

новый сучок, и разом все рухнет» [Достоевский; цит. по: Мережковский, 2000: 53].

Д.С. Мережковский считает, что пророчество Достоевского исполнилось «мы видели, как драгоценная влага разлилась по земле, ушла в землю, так что ничего не осталось; на наших глазах совершилось окончательное «“отпадение, отъединение Л. Толстого от русского всеобщего и великого дела”»; он, действительно, взял у народа все драгоценное, лишил его главного смысла жизни; оттолкнул от себя всю веру народную» [Мережковский, 2000: 54].

Действительно, Константин Лёвин приходит к религии, но не к канонической, а другой. Такая религия открылась Толстому спустя много лет. По-настоящему, писатель приводит героя к религии, которую исповедует крестьянин Фоканыч. Ответ на вопрос о смысле жизни Лёвину подсказал его разговор с подавальщиком Федором, сказавшим про Фоканыча: «<...> правдивый старик. Он для души живет. Бога помнит. – Как бога помнит? Как для души живет? – почти вскрикнул Лёвин. – Известно как, по правде, по божью... – Да, да, прощай, – проговорил Лёвин, задыхаясь от волнения, и, повернувшись, взял свою палку и быстро пошел прочь к дому» [Толстой, 1935, т.19: 377]. И именно в беседе с ним Лёвину приоткрывается истинный смысл жизни.

Таким образом, мы видим, что жизнь Льва Николаевича Толстого и жизнь литературного героя его романа «Анна Каренина» представляют собой отражения, герой и писатель становятся двойниками, каждый из которых влияет друг на друга: писатель направляет на правильный путь героя, а последний в свою очередь дополняет автора в своих размышлениях.

2.4. Вера как слагаемое моралистической программы позднего Толстого

Тяжёлый и длительный процесс написания «Анны Каренины» приводит к новому кризису в жизни писателя. По словам И. Паперно, Толстой старался перейти от литературы к философским рассуждениям, но настойчивые призывы Н.Н. Страхова сподвигнули писателя взяться за роман «с этого момента (1875 год. – С.С.) автобиографический материал будет играть все большую роль в романе <...> а в образе Лёвина проявляются черты его (Толстого. – С.С.) настойчивых мыслей о смерти и о вере» [Паперно, 2018: 66].

Окончание романа знаменуется временным (но не первым) прекращением художественной деятельности, и обращением к публицистическим текстам, которые в художественном плане являются бессюжетными. В 70-е и 80-е гг. Толстой пытается подвести итог пройденного жизненного и литературного пути, результатом чего становится череда философско-моралистических трактатов. Как отмечаем Б.М. Эйхенбаум, «финальные слова “Анны Карениной”, посвященные Лёвину, описывают душевное состояние, пережитое самим Толстым, и имеют характер дневниковой записи, подготовляющей “Исповедь”» [Эйхенбаум, 2009: 672].

В начале своей «Исповеди» Лев Николаевич пишет: «открытие состояло в том, что бога нет и что всё, чему нас учат, одни выдумки» [Толстой, 1957, т.23: 2]. Такое осознание подводит писателя к рецепции всего христианского учения. Причиной отпадения от веры становится сложившийся общественный строй «все живут на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большею частью противоположных ему» [Там же: 3].

Трактат «Исповедь» обладает структурой текста-воспоминания, именно через ключевые для себя моменты в жизни Толстой двигает «сюжет» к своей конечной точке, а именно к принятию Истины, веры в Бога.

Как отмечается в трактате, в молодости писатель приходит к выводу, что единственной верой для него служит вера в совершенствование «началом

всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно подменилось совершенствованием вообще, т. е. желанием быть лучше не перед самим собою или перед богом, а желанием быть лучше перед другими людьми» [Толстой, 1957, т.23: 5]. Этот период у Толстого ассоциируется с честолюбием, властолюбием, гордостью, убийствами на войне, дуэлями, пьянством и обманом. Но приехав в Петербург в возрасте двадцати шести лет, автор сходится с писателями, и теперь для него верой становится поэзия.

Свое призвание, как поэта и художника, он видит в учении людей. Но спустя время Толстой усомнился в истинности веры писательской «убедился, что почти все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и, в большинстве, люди плохие, ничтожные по характерам» [Толстой, 1957, т.23: 7]. Он видит, что настоящим двигателем его общества становятся деньги и похвала. И так он жил до своей женитьбы.

Семья стала новым условием к порождению новых вопросов, касающихся общего смысла жизни. Теперь истиной для Толстого стала жизнь и работа на благо своей семьи. Первые годы женитьбы становятся счастливыми для писателя «мечты Лёвина о любви к женщине и семейной жизни, потрясающее действие, произведенное на него смертью брата: все это списано автором с самого себя. Многие подробности отношений Лёвина и Кити, – как объяснение мелом начальными буквами, чтение его холостых дневников, его страх и желание бегства в день свадьбы, характер первых месяцев супружеской жизни и пр., – довольно близко изображают отношения Льва Николаевича к Софье Андреевне, когда она была невестой и в первые месяцы супружества» [Гусев, 1928: 110].

Но перелом в мировоззрении Толстого произвел сильное воздействие на отношение с женой Софьей Андреевной. В своем дневнике от 1877 г. она писала о тех изменениях, которые происходили с Л. Толстым «Характер Льва Николаевича тоже все более и более изменяется. Хотя всегда скромный и мало требовательный во всех своих привычках, теперь он делается еще скромнее, кротче и терпеливее. И эта вечная, с молодости еще начавшаяся

борьба, имеющая целью нравственное усовершенствование, увенчивается полным успехом» [Гусев, 1963: 509].

Но постепенно на писателя стали находить минуты «сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние» [Толстой, 1957, т.23: 11]. Такое состояние провоцировали вопросы, ответы на которые Толстой пытался найти. Таких минут-остановок становилось больше в его жизни, страдание росло «и больной не успеет оглянуться, как уже сознает, что то, что он принимал за недомогание, есть то, что для него значительнее всего в мире, что это – смерть» [Там же: 12].

Жизнь стала представляться ему бессмыслицей – и это была единственная истина для него «жизнь моя есть какая-то кем-то сыгранная надо мной глупая и злая шутка» [Толстой, 1957, т.23: 14]. Смерть стала неизбежным финалом, концом, поглощающим и так бессмысленную жизнь. Как отмечает В.В. Патерыкина в статье «“Исповедь” Л.Н. Толстого о смысле жизни, смерти и вечности», внутреннее, душевное неблагополучие Толстого происходило на фоне становящегося внешнего благосостояния. К своим зрелым годам писатель достигает «уважение близких и знакомых, признание писательского труда, материальное благосостояние, любовь семьи» [Патерыкина, 2015: 208], но внутренне он остаётся опустошённым «но я жил, живу еще, и жило и живет всё человечество. Как же так?» [Толстой, 1957, т.23: 30]. И чтобы восстановить баланс, писатель продолжает искать смысл жизни, а то и смерти.

Толстой понял, что нужно обратиться к тем миллиардам, которые нашли смысл жизни, которые продолжают жить ради чего-то. Этим стало Христианство. Вера в Бога. Он стал сближаться с верующими из народа. И религия стала новой истиной для писателя. «Но понятие мое о боге, о том, которого я ищу? – спросил я себя. – Понятие-то это откуда взялось?» [Толстой, 1957, т.23: 506] – и писатель прочувствовал, что всё зародилось в детстве. «Стоит забыть, не верить в него, и я умираю. Что же такое эти

оживления и умирания?» [Там же: 46], и ответом на все вопросы для Толстого становится его запись: «Знать бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь» [Там же: 47].

Попыткой найти точку опоры становится трактат «В чём моя вера?». В нём Толстой, уже пришедший к Христианству, осознаёт глубокую пропасть между официальной церковью и христианскими заповедями: «главная задача нашей жизни по этому представлению не в том, чтобы прожить ту данную нам смертную жизнь так, как хочет податель жизни, не в том, чтобы сделать ее вечною в поколениях людей <...> а в том, чтобы уверить себя, что после этой жизни начнется настоящая» [Толстой, 1957, т.23: 400].

Трактат «В чём моя вера?», ревизионистское богословское сочинение, становится продолжением «Исповеди»: «я перешел от нигилизма к церкви только потому, что сознал невозможность жизни без веры, без знания того, что хорошо и дурно помимо моих животных инстинктов. Мне была нужна и дорога жизнь, основанная на христианских истинах; а церковь мне давала правила жизни, вовсе чуждые дорогим мне истинам» [Там же: 308]. Именно на эту дорогу вступает Лёвин в финале романа «Анна Каренина», на эту же дорогу христианской веры вступил и сам Толстой, «но прежде чем принять веру, он чувствует необходимость переписать её положения», – делает заключение Ирина Паперно [Паперно, 2018: 9].

Фундаментальная проблема жизни и смерти становится одной из главных в «В чём моя вера?». Смерть, которая ограничивает способность жить здесь и сейчас становится лишь стратегией власти официальной церкви. Толстой же, наоборот, приходит к тому, что жить надо так, чтобы смерть не рушила её «Смерть, смерть, смерть каждую секунду ждет вас. Жизнь ваша всегда совершается ввиду смерти. Если вы трудитесь лично для себя в будущем, то вы сами знаете, что в будущем для вас одно – смерть. И эта смерть разрушает все то, для чего вы трудились. Стало быть, жизнь для себя не может иметь никакого смысла. Если есть жизнь разумная, то она должна быть какая-нибудь другая, то есть такая, цель которой не в жизни для себя в

будущем. Чтобы жить разумно, надо жить так, чтобы смерть не могла разрушить жизни» [Толстой, 1957, т.23: 390].

В 1887 г. в письме к В.Г. Черткову Толстой писал: «начал я писать о жизни и смерти, а когда дописал, оказалось, что вторую часть заглавия пришлось выкинуть, потому что для меня, по крайней мере, это слово потеряло совершенно то значение, какое я ему придавал в заглавии» [Толстой, 1936, т.26: 766] – именно о новом и конечном для Толстого значении смерти говорится в философском сочинении «О жизни», которое было опубликовано позже, в 1888 г.

Поздний Толстой даёт причину того страха смерти, который с ним произошёл в 1869 г. в городе Арзамас и который преследовал его всю жизнь «ведь страх смерти происходит только от страха потерять благо жизни с ее плотской смертью. Если же бы человек мог полагать свое благо в благе других существ, т. е. любил бы их больше себя, то смерть не представлялась бы ему тем прекращением блага и жизни, каким она представляется человеку, живущему только для себя» [Там же: 370]. Непрекращающиеся мысли о скорой и неизбежной смерти пугали Толстого 20 лет назад, но в 1880-х гг. писатель понимает, что бояться, на самом деле, нечего: «человек не знает своей смерти и никогда не может познать ее, она никогда еще не прикасалась к нему, про намерение ее он ничего не знает. Так чего же он боится?» [Там же: 398].

Жизнь и смерть представляют собой синтез двух взаимосвязанных материй, которые для человека являются истинным знанием о бесконечности «Стало быть, если есть какое-нибудь такое наше я, которое мы боимся потерять при смерти, то это я должно быть не в том теле, которое мы называем своим, и не в том сознании, которое мы называем своим в известное время, а в чем-либо другом, соединяющем весь ряд последовательных сознаний в одно» [Там же: 405].

Жизнь, по Толстому, есть материальная и нематериальная «есть только два строго логические взгляда на жизнь: один ложный – тот, при котором

жизнь понимается, как те видимые явления, которые происходят в моем теле от рождения и до смерти, а другой истинный – тот, при котором жизнь понимается как то невидимое сознание ее, которое я ношу в себе» [Там же: 400]. Материальная или животная жизнь сосредоточена на эмпирическом составе человека. По мнению В.В. Зеньковского, человек заходит в трагический для себя тупик, когда не может мыслить себя вне плотского начала – тогда и наступает «неотвратимость смерти» [Зеньковский, 1977: 304]. Материальное сознание определяется Толстым как отдаление индивидуального «я» от *Всего*. Таким образом, по мнению В.М. Паперного, материальный мир «представляется как “бессмысленный” – лишенный внутренней структуры» [Паперный, 1980: 113].

Нематериальная жизнь, которую Толстой считает единственной верной, истинной, соприкасается со *Всем* бесконечным, меняющимся «и несмотря на то, что сознание видит само себя и весь бесконечный мир и судит само себя и весь бесконечный мир, и видит всю игру случайностей этого мира <...> Все есть произведение вещества, бесконечно изменяющегося; и то, что называют жизнью, есть только известное состояние мертвого вещества» [Толстой, 1936, т.26: 352].

Такое новое понимание жизни, как чего-то бесконечно изменяющегося и движущегося, даёт шанс человеку установить новое отношение к миру, и только посредством этого нового отношения, в котором царит любовь к ближнему и осознание своего существования как «я» «и уничтожает представление смерти <...> Жизнь его непрерывающееся движение, а оставаясь в том же отношении к миру, оставаясь на той степени любви, с которой он вступил в жизнь, он чувствует остановку ее, и ему представляется смерть» [Толстой, 1936, т.26: 410].

Противопоставляя такое новое знание научному, или, по мнению Толстого, «ложному» направлению, которым руководствовался И.И. Мечников, писатель до конца придерживается своей точки зрения по поводу бессмысленности попыток избежать болезней, старость и смерть «для

человека, понимающего жизнь в том, в чем она действительно есть, говорить об умалении своей жизни при болезнях и старости и сокрушаться об этом – все равно, что человеку, подходящему к свету, сокрушаться об уменьшении своей тени по мере приближения к свету. Верить же в уничтожение своей жизни, потому что уничтожается тело, все равно, что верить в то, что уничтожение тени предмета, после вступления предмета в сплошной свет, есть верный признак уничтожения самого предмета» [Толстой, 1936, т.26: 412].

Жить для других – главное спасение для Толстого «жить для себя одного неразумно. И потому, с тех пор как есть люди, они отыскивают для жизни цели вне себя: живут для своего ребенка, для семьи, для народа, для человечества, для всего, что не умирает с личной жизнью» [Толстой, 1957, т.23: 399]. Важным звеном в цепи от «смерти» до слияния с бесконечностью являются воспоминания – они становятся ключом к поддержанию жизни давно ушедшего человека, при этом Толстой в первую очередь имеет в виду воспоминания духовного образа человека «Это воспоминание есть та самая его невидимая, невещественная атмосфера, которая окружала его жизнь и действовала на меня и на других при его плотском существовании, точно так же, как она на меня действует и после его смерти. Это воспоминание требует от меня после его смерти теперь того же самого, чего оно требовало от меня при его жизни. Мало того, воспоминание это становится для меня более обязательным после его смерти, чем оно было при его жизни. Та сила жизни, которая была в моем брате, не только не исчезла, не уменьшилась, но даже не осталась той же, а увеличилась и сильнее, чем прежде, действует на меня» [Толстой, 1936, т.26: 413].

Итогом всех своих религиозных, философских, нравственных поисков становится принятие неизбежности собственной смерти, но эта неизбежность теперь не страшит Толстого, как «арзамасский ужас», а открывает веру в истину Божью. Вера в Христа есть знание истины, и только в ней Лев

Толстой отыскивает свой путь «я понял, кроме того, что чтобы я ни делал, я неизбежно погибну бессмысленною жизнью и смертью со всем окружающим меня, если я не буду исполнять этой воли Отца, и что только в исполнении ее – единственная возможность спасения» [Толстой, 1957, т.23: 402].

2.5. Младшие современники Толстого и Мечникова: творчество И.А. Бунина

Откликом на вечную проблему смерти становится и творчество И.А. Бунина, в котором чётко прослеживается продолжение основных толстовских мыслей. В работе «Творчество И.А. Бунина и религиозно-философская культура рубежа времен» Г.Ю. Карпенко отмечает, что современное буниноведение до сих пор не обратило внимания на связь антропологических взглядов писателя с биологической теорией И.И. Мечникова [Карпенко, 1998: 67].

По наблюдениям Ю.В. Мальцева, в начале XX в. вся русская интеллигенция чувствовала потребность в новых философских взглядах – теория «живой жизни», набиравшая популярность в это время, заинтересовала и И.А. Бунина «стали входить в моду “философские собрания”, где крупнейшие философы читали доклады и где обсуждались всевозможнейшие теории» [Мальцев, 1994: 198]. По мнению Карпенко, с идеями Мечникова Бунин мог познакомиться, не только обращаясь к работам учёного, но и живя в Одессе, в городе, где в 1870 – 80-е гг. работал и читал свои лекции Мечников. Одна из них, привлекавшая внимание Бунина, была теория «вечной жизни» [Карпенко, 1998: 67].

В художественном воплощении скрытая полемика с теорией рационального долголетия выражена в «Чаше жизни» 1913 г. Как отмечает Т.В. Саськова в работе «“Чаша Жизни” И.А. Бунина в контексте мировой культуры», семантика чаши восходит к древней, фундаментальной

мифологеме. Её основой является дуалистическое представление о мире – жизни и смерть. Чаша с древних времён ассоциируется с судьбой «она вмещает в себя столько жизненной влаги, сколько суждено испытать человеку до последнего глотка» [Саськова, 1997: 4]. По мнению исследовательницы, пространство города, в котором развивается жизнь героев, «соотносится с сакральной содержательностью мифологемы чаши» [Там же: 6]

Помимо центральных героев Бунин выводит на периферию событийного ряда важное лицо – Горизонтова. Писатель выстраивает его жизнь согласно «сюжету Мечникова»: «он стал сказкой города: поражал своей внешностью, своим аппетитом, своим железным достоинством в привычках, своим нечеловеческим спокойствием и – своей философией» [Бунин, 1987, т.3: 206].

В нарративном плане Бунин превращает событийность жизни Горизонтова в дурную бесконечность. Однообразная жизнь с четким повторением определенных событий из-за дня в день делают героя бессюжетным, он теряет свою индивидуальность, делая осознанный выбор в пользу телесности. Устоявшийся набор действий: «полное воздержание от сношений с женщинами, полное спокойствие во всех жизненных обстоятельствах, самое точное выполнение своих разумных, продуманных привычек и строжайший уход за своим телом – прежде всего в смысле питания его и освежения водою» [Там же: 207] – должен привести героя к желанному долголетию. Но на деле, как отмечает Саськова, Горизонтов «превращается в гигантскую устрашающую Мандриллу» [Саськова, 1997: 38].

Герой, рассматривая свою жизнь как постоянную борьбу, не обременяет себя мыслями о духовных ценностях. По мнению Л. Крутиковой, высказанному в статье «В мире художественных исканий Бунина», Бунин своим рассказом хотел не только показать бессмысленность жизни героев, но также «развенчать модную тогда теорию жизни ради самой жизни,

заставить читателя испытать тоску по одухотворенному, осмысленному бытию» [Крутикова, 1973: 102].

Горизонтов разделяет точку зрения И.И. Мечникова на то, что старость очень сходна с болезнью: «все силы каждого человека должны быть направлены исключительно на продолжение жизни» [Бунин, 1987, т.3: 206]. Как отмечает Ю.С. Попова, для Горизонтова теряется библейская, христианская, а то и фольклорная семантика «чаши жизни». В понимании героя чаша жизни – это его собственное тело. Поэтому главным способом борьбы со старостью и смертью становится ведение здорового образа жизни, но, в случае с Горизонтовым, такой образ носит абсурдистский характер «суп, борщ, лапшу прошу подать мне не в тарелочках: предпочитаю в мисочках. Живность - штучно, а не кусочками. Жаркое обязательно с картофелем, с овощами. Кашу гречневую, ровно, как и пшеничную – чугуничками...» [Бунин, 1987, т.3: 206].

Герой ставит перед собой определенную цель – «достижение долголетия и наслаждения им» [Там же: 207]. Тело становится объектом, которое необходимо каждый день тренировать: купаться вплоть до Покрова, тем самым испытывая своё тело на прочность «все ахали, видя, как обнажается его сизо-серое тело, его чудовищные ступни, безобразно искривленные, лежащие друг на друге пальцы и ногти их, похожие на раковины» [Там же: 206].

В финальном эпизоде читатель узнаёт о дальнейших планах Горизонтова на жизнь. Горизонтов отправляется в анатомический театр Московского императорского университета, чтобы продать свой собственный скелет. Ошеломив таким заявлением пассажиров вагона, Горизонтов с легкостью отвечает: «А почему бы и нет? Раз эта сделка увеличивает мое благосостояние и не наносит мне никакого ущерба? ...Надеюсь, судя по тому запасу сил, который есть во мне, прожить никак не менее девяноста пяти лет» [Там же: 210].

Идея отдать свой скелет коррелируется с идеей продажи души дьяволу. В финальной сцене Бунин даёт свою негативную оценку популярной теории «живой жизни» вообще и теории Мечникова в частности. Важно замечание Саськовой, что раз души у Горизонтова нет, то «приходится заложить скелет» [Саськова, 1997: 38].

По мнению Ю.В. Мальцева, рассказ можно отнести в ряды философских: в «Чаше жизни» показан «трагизм всякой человеческой жизни как таковой, тщета и безнадежность борьбы человека со временем и смертью» [Мальцев, 1994: 201]. Поэтому не только Горизонтову, но и остальным героям не дано реализовать предначертанные цели «И.А. Бунин через значимые имена, многозначительные религиозные и античные подтексты подчеркивает мысль о том, что персонажи по их судьбам должны иметь высокое предназначение. *Но герои вели совсем бездуховную жизнь: всю свою жизнь тратили либо на соперничество в достижении известности, достатка и почета, либо на увеличение благосостояния и на наслаждение долголетием жизни* (курсив мой. – С.С.). Их бытие ограничено узким пространством существования с начала до конца рассказа» [Линь, 2015: 208].

Но проблема жизни и смерти рассматривается Буниным не только как антропологические категории, но и как нравственно-философские. В работе «Повышенное чувство жизни: мир Ивана Бунина» О.В. Сливицкая отмечает, что фундаментальной проблемой для писателя является именно проблема начала и конца «с ней сопряжены и из неё вытекают проблемы бытия и становления, жизни и смерти, времени и памяти» [Сливицкая, 2004: 83].

В 1929 г. Бунин завершает свой автобиографический роман «Жизнь Арсеньева». Автор начинает роман такими словами: «у нас нет чувства своего начала и конца» [Бунин, 1988, т.5: 6]. О.В. Сливицкая считает, что отсутствие начала и конца – «значит, что все аспекты бытия, и плотские, и духовные, едины» [Сливицкая, 2004: 86]. В этой связи важно говорить о ретроспективе Буниным идей позднего Толстого о жизни и смерти.

«Жизнь Арсеньева» строится как дневник воспоминаний зрелого Алексея Арсеньева. Герой, он же Иван Бунин, теперь задумывается над вопросами бытия «а родись я и живи на необитаемом острове, я бы даже и о самом существовании смерти не подозревал. “Вот было бы счастье!” – хочется прибавить мне. Но кто знает? Может быть, великое несчастье. Да и правда ли, что не подозревал бы? Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет, если бы не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил?» [Бунин, 1988, т.5: 6].

Мотив роли впечатлений о смерти и близкой ей потери близких становится важным элементом в романе Бунина. Когда сам герой непосредственно сталкивается со смертью (умирает Сенька, младшая сестра, бабушка, Писарев и др.), именно в такие моменты он чувствует, что будто сам прикасается с ней, к этому «темному, тяжкому и даже как будто гадкому» [Бунин, 1988, Т.5: 14]. В статье «Чувство смерти в мире Бунина» О.В. Сливицкая отмечает, что в художественном пространстве писателя смерть близкого всегда расценивается как *моя смерть* «независимо от того, кто умирает – близкий или далекий, человек или любое живое существо, – это для меня прозвучало: *memento mori* <...> Его смерть проецируется на мою жизнь и подтверждает неизбежность и моей смерти» [Сливицкая, 2002: 67].

В связи с ретроспективной толстовской идеи смерти, важно обратить внимание на схожесть мотивов и эпизодов в романе «Жизнь Арсеньева» и «Анна Каренина». Близость этих двух автобиографических романов заключается в обращении писателями к фундаментальной проблеме жизни и смерти, экзистенциальному кризису, который испытывают Арсеньев и Лёвин.

Эпизод смерти брата Николая в романе Толстого находит свой аналог в эпизоде смерти Писарева у Бунина. Единственным расхождением становится сопричастность главных героев к умирающему, т.е. их личное отношение к нему. Отсюда вытекает и разница в впечатлении героев от увиденной смерти.

Как герою присуще «повышенное чувство жизни» (термин, данный О.В. Сливичкой в работе «Повышенное чувство жизни: мир Ивана Бунина»), так ему и присуще острое чувство смерти, её влияния на ход жизни «люди совсем не одинаково чувствительны к смерти. Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни)» [Бунин, 1988, т.5: 13]. Этим чувством обладал и сам Иван Бунин: в своих дневниках он неоднократно писал, что чувство смерти также сильно ощущается как чувство.

Бунин, как и Толстой, мыслят себя в координатах христианства, им присуще антропокосмическое миропонимание проблемы и трагедии человека. «В чём смысл жизни?» – на этот вопрос пытается ответить Арсеньев на протяжении всего романа. Его мысли двигаются от идеи – «разве это было бы возможно, будь нашей долей только то, что есть, “что Бог дал”, – только земля, только одна эта жизнь? Бог, очевидно, дал нам гораздо больше» [Бунин, 1988, т.5: 11], в которой героем признаётся некогда заложенный смысл их существования кем-то свыше, до мысли – «впрочем, ведь и все в мире было бесцельно, неизвестно зачем существовало, и я уже чувствовал это» [Там же: 16], где герой растерян в своём потоке мыслей.

Но именно в сопряжении жизни и смерти расходятся идеи Толстого и Бунина. Автор «Анны Карениной» движется от идеи жизни, заточенной в мирском бытии, и смерти, выступающей концом процесса освобождения от неё, слияние со *Всем*. Всё, для Толстого, – это понятие, сопряженное с *космосом*: это вера и Бог, жизнь и смерть, а также вечность, или, как говорит Сливичкая, «универсум в его цельности и полноте» [Сливичкая, 2006: 86].

Многочисленные формулировки *Всего* даются у Толстого и в дневниках, и в письмах к знакомым и близким. Наиболее полное представление о самом важном понятии для писателя может служить письмо к В. Черткову 1900 г., в котором Толстой так описывает «*Всё*»: «сознание есть не что иное, как чувствование себя в одно и то же время и всем, в

отдельной части *Всего*. Но чувствуй себя человек *всем*, он не мог бы понимать, что такое отделенная часть *всего*, то самое, чем он себя чувствует. Не чувствуй же он себя отдельной частью, он не мог бы понимать, что есть *Все*. Двойное чувствование это дает человеку знание о существовании *Всего* и о существовании своего отдельного существа и проявляется в жизни любовью, т. е. желанием блага тому, чем человек себя чувствует: желанием блага *Всему* и желанием блага своему отдельному существу» [Толстой, 1957, т.89: 157].

В то же время Бунин осознает и подчеркивает сложные связи между жизнью и смертью – «смерть наличествует в мире не как начало, подчиненное жизни и призванное оттенить те или иные ее грани: напомнить либо о ее ценности, либо, напротив, о ее тщете. Нет, она жизни не подчинена, но она с жизнью нерасторжима и с жизнью равноправна: без смерти, как и без жизни, нет полноты бытия» [Сливицкая, 2002: 68]. Поэтому в романе «Жизнь Арсеньева», где значимым оказывается переживания, вызванные интенсивным проживанием жизни, главный герой познаёт веру и Бога через смерть своих родных «когда и как приобрел я веру в Бога, понятие о Нем, ощущение Его? Думаю, что вместе с понятием о смерти. Смерть, увы, была как-то соединена с Ним. Соединено с Ним было и бессмертие» [Бунин, 1988, т.5: 13]. Как отмечает Сливицкая, смерть возникает у Бунина как конечность и как бесконечность «чувство смерти – это нечто большее, чем биологический инстинкт, – она сопрягается с трансцендентными глубинами бытия» [Сливицкая, 2002: 69].

Но как продолжить жизнь герою, когда она омрачена печальными и тревожащими думами о близкой смерти и, как результат, лишена смысла? Бунин обращается к Толстому, к идее о вечной душе: «у каждого из нас есть где-то в груди душа, и душа эта бессмертна» – это становится ключом к его «освобождению» [Бунин, 1988, т.5: 13].

Освобождение от жизни – мысль, которая появилась в романе «Жизнь Арсеньева», и которая стала главной для Бунина в определении Льва

Толстого. В 1937 г. выходит в свет книга «Освобождение Толстого», где Бунин попытался изложить весь пройденный путь русского классика: «осталось одно: Бог; осталось “освобождение”, уход, возврат к Богу, растворение – снова растворение – в Нем» [Бунин, 1988, т.6: 6].

О.В. Сливацкая пишет, что Толстой в работе Бунина «Освобождение Толстого» «прочитан под знаком конца» [Сливацкая, 2004: 92], но разница двух классиков состоит в том, что у Толстого существует равновесие двух полюсов, у Бунина же, особенно в «Жизни Арсеньева», ярко выражен полюс конца (смерти) [Там же: 92]. Важна мысль, которую хочет донести Сливацкая, что если Толстой принимает закон бытия, осознаёт и готов встретить смерть, то для Бунина невозможно принятие этого закона, смерти как конечного этапа, ему присуща борьба с умиранием «смерть для него – это великая Проблема, смерть – это безмерный ужас, смерть – это абсолютный конец. И не только смерть человека, но и смерть мгновения, конечность всего сущего. Борьба со временем и ее тщетность придают миру Бунина особую трагическую яркость» [Сливацкая, 1996: 48].

Таким образом, мы видим, что усвоение мечниковской идеи русскими классиками происходит через полное отрицание (Толстой) и абсурдизацию такого «здорового» образа жизни (Бунин). Здесь возникает не только писательский конфликт, но и нравственно-религиозный. Человек без души – так воспринимается писателями мечниковский герой, который попадает к некую антисюжетную избыточную бесконечность.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2

Таким образом, из проделанного выше анализа можно сделать следующие выводы. Во-первых, все многолетние поиски Толстого сводятся к одному – вере. Под верой для позднего Толстого теперь выступает ни семья, ни литература, ни философские доктрины, которые он описывает в своей «Исповеди», а стремление к освобождению духовному, слияние с истиной Божьей. Эту главную мысль Толстой продолжает и в последующих сочинениях «В чём моя вера?» и «О жизни».

Во-вторых, интеллектуальный диалог Л.Н. Толстого с И.И. Мечниковым в зачаточном виде содержится в разных текстах романиста. Фундаментальная проблема смерти становится для Л.Н. Толстого предметом глубоких размышлений. В этой связи полюса счастья и смерти сближаются в творчестве писателя, так как каждый из них располагает функцией остановки момента и, как следствие, проблематизирует фабульное событие – основу любого рассказывания. Как для Маши («Семейное счастье»), Позднышева («Крейцера соната»), Анны Карениной, так и для Льва Толстого как биографического автора важно духовное родство душ; духовная любовь есть нечто идеальное и возвышенное, которое сможет двигать героев на жизненном пути. На деле каждый из них сталкивается лишь с физической, плотской оболочкой. Поэтому эти герои, оказываясь в разных семейных ситуациях, по-настоящему же, находятся в одинаковых положениях: Позднышев убивает свою жену от ревности, Каренина бросает своего мужа в попытках найти семейное счастье с Вронским, которое оканчивается самоубийством, а Маше остаётся гадать, какую судьбу ждёт её «семейное несчастье».

В-третьих, попытки понять смерть приводят к усложнению повествовательной ситуации, которая характеризуется пребыванием героя в статичном положении как духовном, так и физическом. На примере ряда текстов Л.Н. Толстого, начиная с «Семейного счастья» до романа «Анна

Каренина», а также И.А. Бунина, мы наблюдаем, как писатели рефлексиируют, кто бессознательно, кто сознательно, мечниковскую модель жизнестроения. Как показывает дальнейший анализ, такой «мечниковский» герой ввергает себя во вневременность как форму небытия, оказывающегося в итоге для него губительным.

В этой связи Толстому и Бунину сложно воспринимать позицию врача как некоего спасателя. Мечников подходил к проблеме смерти только с научной точки зрения, воспринимая её как задачу, которую нужно решить, Толстой же, а следом и Бунин, стремится показать значение смерти для жизни каждого человека, невозможность вычеркивания её из жизненной программы. Смерть становится концом одного и началом другого – именно эту идею Л.Н. Толстой вкладывает в свои поздние литературные произведения, моралистические трактаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе мы описали, каким образом медицинский дискурс вторгается в повествовательную структуру художественных текстов Л.Н. Толстого и И.А. Бунина.

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы. Для ученых XVIII – начала XIX вв. была свойственна жажда познания необъяснимого, на этот раз фокус своего внимания был обращён на проблему смерти, как не желаемое завершение человеческой жизни. Отечественные учёные на протяжении всего века предлагали различные интерпретации смерти и методов избавления от ее гнетущей силы. Исключением не является и Илья Ильич Мечников. Предложенная им мировоззренческая модель, основанная на фагоцитарной теории и преимущественно поддержании здорового образа жизни, привлекла к себе внимание не только высших слоёв общества, но и русских писателей и мыслителей того времени.

Для русских классиков, как специально исследовавшиеся нами Л.Н. Толстой и И.А. Бунин, в построении художественного текста важна событийность как одна из главных категорий сюжетосложения. На примере Л.Н. Толстого становится видно, что подстерегающий биографического автора страх смерти, которым подвержен не только писатель, но и его герои, ведёт к подрыванию событийности, проблеме развёртывания сюжета. Преобладающая тема смерти, свойственная позднему Толстому, находит свой отклик и в творчестве И.А. Бунина.

Как герои Толстого (Маша, Позднышев, Анна Каренина, Лёвин), так и герои Бунина (Арсеньев, Горизонтов) сталкиваются с проблемой смерти и счастья как ситуацией «консервирования» своего тела или состояния, момента. Сама структура жизнеописания, как показывают тексты писателей, противоречит литературной поэтике. Таким образом, Мечников и весь

медицинский дискурс являют собой антилитературную программу по отношению к литературе.

Перспектива дальнейшего исследования связана с рассмотрением образа врача не только как создателя нового нарратива, но врача-писателя, как следствие и его творчество, являющееся синтезом медицинского и литературного сознаний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айхенвальд Ю.И. Лев Толстой. М.: Кооперативное издательство, 1920. 70 с.
2. Бабаев Э.Г. «Анна Каренина» Л.Н. Толстого. М.: Худож. литература, 1978. 155 с.
3. Бахтин М.М. Эпос и роман. О методологии исследования романа // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Худож. литература, 1975. С. 447 – 483.
4. Бицилли П.М. Проблема жизни и смерти в творчестве Толстого // Лев Толстой: pro et contra. Серия: «Русский путь». Санкт-Петербург: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 2000. Вып. 7. С. 473 – 499.
5. Богданов К.А. Врачи, пациенты, читатели. Патографические тексты русской культуры. XVIII – XIX веков. М.: ОГИ, 2005. 504 с.
6. Богданов К.А. Преждевременные похороны: филантропы, беллетристы, визионеры // Русская литература и медицина: Тело, предписания, социальная практика: сб. статей. М.: Новое издательство, 2006. С. 55 – 81.
7. Теория литературы: Учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений: В 2 т. / под ред. Н.Д. Тamarченко. Т. 2: Бройтман С.Н. Историческая поэтика. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 368 с.
8. Бунин И.А. Собрание сочинений: в 6 Т. М.: Худож. литература, 1987 – 1988.
9. Вересаев В.В. Живая жизнь: О Достоевском и Л. Толстом: Апполон и Дионис (Ницше). М.: Политиздат, 1991. 336 с.
10. Ветловская В.Е. Поэтика «Анны Карениной»: система неоднозначных мотивов // Русская литература. 1979. №4. С. 17 – 37.

11. Волохова М.В. «Путь смерти» Л.Н. Толстого: (категория смерти в его религиозно-нравственной философии) // Вестник Моск. ун-та. Серия: Философия. 2000. № 3. С. 84 – 98.
12. Галаган Г.Я. Л.Н. Толстой: Философско-исторические основы единения людей // Единение людей в творчестве Л.Н. Толстого. Фрагменты рукописей. Оттава: Оттавский университет; ИРЛИ РАН; ИМЛИ РАН, 2002. С. 68 – 88.
13. Гусев Н.Н. Л.Н. Толстой в расцвете художественного гения. 1862 – 1877. М.: Изд-во Толстовский музей, 1928. 220 с.
14. Гусев Н.Н. Материалы к биографии Льва Николаевича Толстого с 1870 по 1881 год. М.: Академия наук СССР, 1963. 672 с.
15. Жолковский А. «Ex Ungue Leonem». Детские рассказы Л. Толстого и поэтика выразительности / А. Жолковский, Ю. Щеглов. М.: НЛО, 2016. 280 с.
16. Задёра Г.П. Лев Толстой о медицине и врачах. 2-е изд. Ростов на Дону: Фельдшерская мысль, 1915. 98 с.
17. Зеньковский В.В. Л. Толстой как мыслитель (к диалектике его духовных исканий) // Русские мыслители и Европа. М.: Республика, 1977. С. 300 – 308.
18. Игнатъев В.А. В поисках души и бессмертия. Работы разных лет (2005 – 2009). К 70-летию автора. Научное издание. М.: Издательство «ЭРА», 2010. 402 с.
19. Интервью и беседы с Львом Толстым / Сост., вступ. ст. и коммент. В.Я. Лакшина. М.: Современник, 1986. 525 с.
20. Карпенко Г.Ю. Творчество И.А. Бунина и религиозно-философская культура рубежа веков. Самара: Изд-во Самарской гуманитарной академии, 1998. 113 с.
21. Корб И.Г. Дневник путешествия в Московию. Санкт-Петербург: Издание А.С. Суворина, 1906. 322 с.

22. Крутикова Л.В. В мире художественных исканий Бунина: (Как создавались рассказы 1911 – 1916 гг.) // Литературное наследство. Иван Бунин. Т. 84: В 2 ч. М.: Наука, 1973. Ч. 2. С. 90 – 120.
23. Линь Е. Экзистенциальная поэтика в рассказе И.А. Бунина «Чаша жизни» // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2015. Вып. 6. С. 206 – 211.
24. Лихтенштейн И. Литература и медицина. Онтарио: Altaspera, 2015. 430 с.
25. Лотман Ю.М. Происхождение сюжета в типологическом освещении // Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 томах. Т.1: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн: Александра, 1992. С. 224 – 242.
26. Лотман Ю.М. Смерть как проблема сюжета // Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994. С. 417 – 430.
27. Мальцев Ю.В. Иван Бунин: 1870 – 1953. М.: Посев, 1994. 432 с.
28. Матич О. Поздний Толстой и Блок попутчики по вырождению // Русская литература и медицина: Тело, предписания, социальная практика: сб. статей. М.: Новое издательство, 2006. С. 191 – 207.
29. Матич О. Эротическая утопия: новое религиозное сознание и findesiècle в России. М.: НЛО, 2008. 396 с.
30. Мережковский Д.С. Толстой и Достоевский. М.: Наука, 2000. 592 с.
31. Мечников И.И. Сорок лет искания рационального мировоззрения. М.: Гос. издат, 1925. 280 с.
32. Мечников И.И. Этюды о природе человека. М.: Книжный Клуб Книговед, 2011. 320 с.
33. Мечников И.И. Этюды оптимизма. М.: Книжный Клуб Книговед, 2012. 352 с.
34. Могилёвский Б.Л. Илья Ильич Мечников. М.: Молодая гвардия, 1958. 352 с.

35. Паперно И. Самоубийство как культурный институт. М.: НЛЮ, 1999. 98 с.
36. Паперно И. «Кто, что я?»: Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах. М.: НЛЮ, 2018. 232 с.
37. Паперный В.М. К вопросу о системе философии Л.Н. Толстого // Проблемы социальной детерминации познания. Серия: Труды по философии XXI. Ученые записки Тартуского гос. ун-та. 1980. С. 105 – 128.
38. Патерыкина В.В. «Исповедь» Л.Н. Толстого о смысле жизни, смерти и вечности // Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета. 2015. Вып. 2. С. 205 – 211.
39. Попова Ю.С. Есть ли в жизни смысл, не уничтожаемый смертью? Жизнь и смерть в прозе И.А. Бунина // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. 2014. Вып. 12. С. 90 – 93.
40. Резник С. Мечников. М.: Молодая гвардия, 1973. 368 с.
41. Саськова Т.В. Чаша Жизни И.А. Бунина в контексте мировой культуры. М.: МГОПУ, 1997. 51 с.
42. Сегалин Г.В. Эвропатология личности и творчества Льва Толстого // Клинический архив гениальности и одаренности (эвропатологии) / под ред. д-ра Г.В. Сегалина. Т. 5. Вып. 3 – 4. Свердловск: Редактор, 1930. 159 с.
43. Сливицкая О.В. Бунин и русский космизм // *Studia Rossica Posnaniensia*. 1996. № 27. С. 43 – 51.
44. Сливицкая О.В. Чувство смерти в мире Бунина // Русская литература. 2002. №1. С. 64 – 78.
45. Сливицкая О.В. «Повышенное чувство жизни»: мир Ивана Бунина. М.: Издательство РГГУ, 2004. 217 с.
46. Сливицкая О.В. Молодой Толстой: преодоление ресентимента // Вестник СПбГУКИ. 2006. № 1. С. 86 – 105.
47. Событие и событийность: сборник статей. / под ред. В. Марковича и В. Шмида. М.: Издательство Кулагиной, 2010. 296 с.

48. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М.: Художественное издательство, 1928 – 1958.
49. Тюпа В.И. Анализ художественного текста: учеб. пособие. М.: Академия, 2009. 330 с.
50. Ханзен-Лёве О. В конце туннеля...Смерти Льва Толстого // НЛО. 2011. Вып. 3. С. 180 – 196.
51. Шкловский В.Б. Лев Толстой. М.: Молодая гвардия. 1963. 864 с.
52. Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. 312 с.
53. Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой: исследования. статьи. / сост., вступ. статья, общ.ред. проф. И.Н. Сухих; коммент. Л.Е. Кочешковой, И.Ю. Матвеевой. Санкт-Петербург: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009. 952 с.